

**Йохан Хейзинга.  
В тени завтрашнего дня.**

*Habet mundus iste noctes suas et non paucas.  
У этого мира есть темные ночи, и их много.  
Бернард Клервоский*

О г л а в л е н и е

- I. В ожидании катастрофы.**
- II. Страхи прежде и теперь.**
- III. Нынешний культурный кризис в сравнении с прежним.**
- IV. Основные условия культуры.**
- V. Проблематический характер прогресса.**
- VI. Наука у пределов возможности мышления.**
- VII. Всеобщее ослабление способности суждения.**
- VIII. Снижение критической потребности.**
- IX. Профанация науки.**
- X. Отказ от идеала познания.**
- XI. Культ жизни.**
- XII. Жизнь и борьба.**
- XIII. Упадок моральных норм.**
- XIV. Государство государству волк.**
- XV. Героизм.**
- XVI. Пуерилизм.**
- XVII. Суеверие.**
- XVIII. Эстетическое выражение в отрыве от разума и природы.**
- XIX. Утрата стиля и иррационализация**
- XX. Виды на будущее**
- XXI. Катарсис**

английский, шведский, испанский, итальянский, норвежский, венгерский, чешский и французские языки, то есть превзошел в 30-е годы популярностью даже "Человека играющего".

### **Предисловие к первому и второму изданиям:**

*Содержание этой книги представляет собой в переработанном виде доклад, прочитанный мною 8 марта 1935 года в Брюсселе. Вполне возможно, что по прочтении этих страниц многие назовут меня пессимистом. На это могу ответить лишь одно: я оптимист. Лейден, 30 июля 1935 года*

### **Предисловие к седьмому изданию.**

*Хотя эта книга по прошествии трех с лишком лет переиздается без каких-либо изменений, было бы ошибкой сделать из этого вывод, что автор оставил без всякого внимания ту критику, которую навлекла на себя его позиция. Как прежде, так и теперь он отдает себе отчет в том, что его изложение не свободно от пробелов, а доводы не всегда убедительны. Но дело все в том, что эту книгу о проблемах столь жеучих, как те, которые трактуются ниже, это сочинение, возникшее столь явно из оценки одной определенной эпохи, коль скоро и по прошествии трех лет спрос на него еще не иссяк, должно либо переписать заново и, стало быть, полностью переиначить, либо оставить его таким, каким нашло оно впервые дорогу к читателю. Для первого моя оценка эпохи еще до конца не созрела: нынешние времена выглядят много запутанней, чем когда-либо прежде.*

*Это новое предисловие имеет единственной целью дать краткое разъяснение по нескольким пунктам. Многие спрашивали меня: вы видите нашу эпоху и нашу культуру в таком мрачном свете и тем не менее называете себя оптимистом? Мой ответ таков: да, я оптимист. Ибо я называю оптимистом не того, кто, невзирая на самые угрожающие признаки упадка и вырождения, восклицает беспечно: "Ах, оставьте, дела обстоят не так уж и дурно! Все опять войдет в свою колею!" Оптимистом я называю того, кто и тогда, когда едва различим путь, выводящий из тупика, не теряет надежды на лучшее.*

*Многие говорили мне: "Вы ставите диагноз недуга, но не даете ни прогноза, ни средств исцеления". Что я был просто не в силах давать какой-либо прогноз, мне самому уже доводилось заявлять. Еще большей дерзостью было бы отважиться на терапию, когда болезнь зашла так далеко. Самое большее, на что я готов был решиться, -- это указать на возможность выздоровления. Несколько подробнее коснулся я данной проблемы в своей статье "Der Mensch und die Kultur" ("Человек и культура"), Schrifreihe "Ausblicke" (Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1938).*

*Пусть каждый сам себе ответит на вопрос, как он оценивает шансы на исцеление от недуга. И независимо от того, возросли они в его глазах или нет, самым важным в конечном счете остается одно -- хранить мужество, верить и выполнять свой долг. Лейден, 11 декабря 1938 года*

## **I. В ожидании катастрофы**

Мы живем в мире одержимости. И мы это знаем. Ни для кого не было бы неожиданностью, если бы однажды безумие вдруг прорвалось в слепое неистовство, которое оставило бы после себя эту бедную европейскую цивилизацию оступелой и умоисступленной, ибо моторы продолжали бы вращаться, а знамена -- реять, но человеческий дух исчез бы навсегда.

Повсюду царит сомнение в прочности общественного устройства, внутри которого мы живем, неясный страх перед ближайшим будущим, ощущение упадка культуры и грозящей человечеству гибели. Это не одни кошмары, что посещают нас в ночную пору, когда бездействует разум и огонек жизни только теплится. Это и трезвые ожидания, взвешенные на весах наблюдения и здравого смысла. Нас прямо-таки захлестывают события. Мы воочию видим, как шатается все то, что казалось прежде незыблемым и священным: истина и человечность, право и разум. Мы видим, как перестают функционировать государственные институты, хиреют производственные системы. Мы видим, как продолжают отчаянно работать вхолостую общественные силы. Грохочущая машина этого неистового времени того и гляди начнет буксовать.

Но здесь тотчас же напрашивается противопоставление. Никогда прежде человек не сознавал столь же ясно, как теперь, повелительную необходимость сообща трудиться над сохранением и совершенствованием земного благополучия и культуры. Никогда прежде не был в таком почете труд. Человек никогда еще не был так готов трудиться и дерзать, в любую минуту принести свое мужество и саму личность на алтарь всеобщего блага. И он не утратил надежды.

Если эта цивилизация будет спасена, если она не потонет в веках варварства, но, сохранив свои высшие ценности, доставшиеся ей по наследству, перейдет в обновленное и более прочное состояние, тогда совершенно необходимо, чтобы ныне живущие отдавали себе отчет в том, насколько далеко зашла угрожающая этой цивилизации порча.

--- --- ---

Настроения грозящей миру гибели, прогрессирующего разложения культуры стали повсеместными сравнительно недавно. Большинству людей основания для подобных мыслей дал экономический кризис, который они испытали

на собственной шкуре (у большинства шкура чувствительнее духа, и с этим ничего не поделаешь). Ясно как божий день, что те, кто имеет обыкновение размышлять о человеческом обществе и культуре, как-то: философы и социологи, уже задолго до этого знали, что с высокохваленой современной цивилизацией отнюдь не "все в порядке". Для них было заведомо очевидно, что экономический разлад есть только одно из проявлений гораздо более обширного культурного процесса.

Первые десять лет нынешнего века еще почти не знали боязливых ожиданий относительно будущности культуры. Как всегда, и в то время бывали разногласия и угрозы, потрясения и страхи. Но, пожалуй, кроме опасности Революции, выдвинутой в качестве перспективы мирового развития марксизмом, все эти опасности не представлялись тем злом, что грозит разрушением всего миропорядка, да и сама Революция казалась ее противникам опасностью, которую можно предотвратить и отвести, меж тем как ее сторонники видели в ней вовсе не пагубу, а благо. Декадентские настроения 90-х годов прошлого века не распространились дальше сферы влияния литературной моды. Анархизм словно утолил жажду деятельности убийством Мак-Кинли, умерив свою ярость. Социализм, судя по всему, развивался в направлении реформаторства. Первая конференция в защиту мира, несмотря на англо-бурскую и русско-японскую войны, возвестила, как тогда чаялось, наступление эры международной гармонии. Лейтмотивом общих настроений в культуре оставалось твердое упование на то, что мир, возглавляемый белой расой, ступает по верному и широкому пути к единению и процветанию в свободе и человечности; порука ему в этом -- научное знание и потенциал общества, которые достигли к тому времени, казалось, едва ли не высшей своей точки. Единение и процветание? Да -- при условии, что политика сохранит здравый смысл. Но этого она не сделала.

Даже мировая война не внесла в эти настроения резких перемен. Действительно, все внимание в те годы было нацелено на ближайшую задачу: продержаться, выжить, напрягши силы, а затем, когда война будет позади, мы все поправим, жить станет лучше, да, и навеки! Первые годы после войны для многих протекли в оптимистических -- по-прежнему -- надеждах на благостыню интернационализма. Наступивший впоследствии мнимый расцвет промышленности и торговли несколько лет еще сдерживал общий культурный пессимизм, пока сам не был оборван кризисом 1929 года.

В настоящее время сознание того, что мы переживаем острый, гибельный кризис культуры, проникло в самые широкие слои общества. Сигналом тревоги для неисчислимой массы людей во всем мире стал "Закат Европы" Шпенглера. Это вовсе не означает, что все читатели знаменитой книги безоговорочно приняли декларируемые в ней взгляды. Но эта книга открыла им саму идею возможности упадка современной культуры, в поступательное развитие которой они прежде верили всецело и без рассуждений. Неколебимый культурный оптимизм остается теперь уделом либо тех, кому недостает проницательности понять, в чем беда нынешней культуры и, значит, они сами втянуты в процесс ее фальсификации, либо тех, кто полагает, что благодаря своей спасительной общественной или политической доктрине держит будущее культуры в своих руках, дабы затем осчастливить обделенное человечество.

Между отчаявшимся культурным пессимизмом и уверенностью в грядущем рае на земле находят себе место те, кто ясно видит серьезные недуги и пороки современности, кто не знает, как их вылечить или исправить, однако они действуют и надеются, пытаются понять и готовы не спастись перед трудностями.

Было бы, наверное, любопытно представить в виде кривой то ускорение, с которым во всем мире исчезло из речевого обихода слово "прогресс".

## II. Страхи прежде и теперь

Может возникнуть вопрос, не переоценивается ли нами опасность кризиса культуры именно в силу того факта, что мы сознаем ее так отчетливо. Чреватые опасностями периоды в прошлом ничего не ведали об экономике, о социологии, о психологии. Кроме того, им недоставало той публичности, которая немедленно делает общим достоянием все, что происходит на земном шаре. Мы же, напротив, замечаем любую трещинку в глазури, слышим каждый скрип в сочленениях. Наше дотошное и многостороннее знание уже само по себе давно открывает нам глаза на безусловную "опасность" ситуации, в которой мы пребываем, на исключительно лабильный характер человеческого сообщества. Наш "горизонт ожиданий", как метко выразился недавно Карл Манхейм (1), не только вообще необычайно расширился; благодаря линзам разнообразных наук мы в то же самое время с пугающей отчетливостью замечаем фигуры на горизонте и вблизи него.

По этой причине было бы бесполезно сориентировать исторически наше понятие о кризисе, сравнив его с великими потрясениями прошлого. При этом тотчас же бросается в глаза одно весьма существенное различие между минувшими днями и нынешними. Идея о том, что наш мир (как бы велик или мал он ни был) находится в опасности, что ему угрожает закат или гибель, живо присутствует в самые разные эпохи. Как правило, эта идея выражалась в ожидании близящегося "конца света". Тем самым даже не оставалось места для простой мысли: как отвести беду? Научной формулировки, по существу, идея кризиса в прежние времена никогда не находила. Как таковая она изначально облекалась преимущественно в религиозную оболочку. В той мере, однако, в коей ожидание "конца света" и "страшного суда" еще оставляло место для земных тревожений, предчувствие неизбежной гибели выражало себя в неясном страхе, отчасти изливавшемся ненавистью на те силы, коим приписывалась вина во всех земных напастях, будь то злые люди вообще либо еретики, ведьмы и колдуны, богатые, советники короля, аристократы, иезуиты, франкмасоны -- смотря по преобладающей тенденции каждой эпохи. В наши дни преобладание грубых и низких критериев суждения вновь необычайно оживило в сознании многих людей фантазмы таких науценных дьяволом злых сил. Даже образованные люди то и дело предаются ныне "злобе суждения", которую можно простить разве только самым низшим и самым невежественным слоям плембса.

--- --- ---

Не всякое ожидание будущего и осуждение настоящего выливалось в представление о близком конце света и вечном воздаянии за грехи. В прошлом не раз бывало, что лучшие умы утешались чаянием будущего на Земле, которое придет на смену дурному настоящему. Но и в этом случае характер подобных надежд отличался от современного культурного сознания. Людям всегда верилось, что прекрасное грядущее не за горами, стоит только руку протянуть; оно должно вот-вот наступить, достаточно лишь понять свои ошибки, рассеять недоразумения и обратиться к добродетели. Перемена виделась как мгновенный **переворот**.

Так представляли все это проповедники любой религии, включавшей в себя, помимо идеи вечного блаженства, также идею мира на земле. Так представлялось и Эразму: в возрожденном знании древней культуры человек обретет ключ к чистым истокам веры; отныне на всем долгом пути земного совершенствования нет никаких препятствий; в скором времени эта новая философия принесет свои плоды -- единение, гуманность и культуру. Равным образом и для просветителей XVIII века, и для близкого их идеалам Руссо счастье человечества еще оставалось вопросом простого самосознания и поворота в умах. Для мыслителей Просвещения вся проблема заключалась в отказе от предрассудков и триумфе науки, для философа Руссо -- только в возвращении к природе и созерцании добродетели. Из этого древнейшего и постоянно возобновляемого представления о простом повороте или перевороте общества выросла, в сущности, идея революции. Сам термин "революция" заимствован из кругового движения колеса. Долгое время на заднем плане этого представления неизменно маячило колесо Фортуны, от вращения которого порой даже шатались королевские троны. Присутствовала в слове "революция" и мысль о круговращении небесных тел. В политическом смысле это слово первоначально применялось к простым государственным переворотам, например 1688 года \*. Только после того, как завершился великий феномен 1789 года, в течение XIX века понятие революции наполнилось тем содержанием, которое придал ему впоследствии социализм. Революция как идея по-прежнему остается в согласии с древней идеей внезапного спасения, благой и скорой перемены.

Этому извечному представлению о внезапном и сознательно желаемом повороте общественного бытия противостоит современное солидно обоснованное знание, полагающее необходимым истолковывать все естественное и все человеческое как результат действия многочисленных, взаимозависимых и долговременных сил. Не впадая при этом с неизбежностью в безоговорочный детерминизм, наш человеческий дух способен признать вмешательство человеческой воли в игру общественных сил только как фактор ограниченного действия. В лучшем случае благодаря целенаправленной консолидации и применению своих собственных высших потенций человек может использовать природные и социальные силы, главенствующие в игре общественной жизни. Он может подталкивать определенные тенденции этого процесса, но не может изменить направление самого процесса. Это убеждение в необратимости общественного процесса мы теперь стремимся выразить термином "развитие". Хотя данное понятие внутренне противоречиво, тем не менее оно стало для нас необходимым логическим орудием, причем крупного калибра. Развитие означает ограниченную необходимость. Эволюция прямо противоположна Перевороту, Революции. На место ушедших в прошлое наивных ожиданий, которые усматривали в скором времени либо конец света, либо золотой век, разум выдвигает твердое убеждение, что переживаемый нами кризис, каким бы он ни был, есть фаза поступательного и необратимого процесса. И все мы, каких бы взглядов и позиций ни придерживались, знаем одно: нам некуда отступать, мы должны пройти через это. Таков совершенно новый, ранее еще не встречавшийся элемент кризисного сознания эпохи.

--- --- ---

Третье коренное различие между прежними формами восприятия кризиса и нынешней уже заключено во втором. В минувшие эпохи все глашатаи лучшей жизни, реформаторы и пророки, вершители и приверженцы ренессансов, реставраций, "пробуждений" \*\* всегда указывали на "славное прошлое", призывали возвратиться назад, возродить былую чистоту. Гуманисты, реформаторы, моралисты времен Римской империи, Руссо, Мухаммед,

даже пророки негритянского племени в Центральной Африке -- все они постоянно обращали свой взор к воображаемому вчера, более прекрасному, чем грубое сегодня, и проповедовали возврат в минувшее.

В наши дни мы не собираемся недооценивать или презирать "славное прошлое". Мы знаем, что в иные времена -- и даже совсем недавно -- многое было лучше, чем теперь. Мы допускаем, что впоследствии человеческая культура в определенных чертах, утрату которых мы нынче оплакиваем, может снова обнаружить сходство с культурой былых времен. Но мы знаем твердо: всеобщего пути назад нет. Есть только движение вперед, хотя и кружат нам головы незнакомые глубины и дали, хотя и зияет перед нами ближайшее будущее, подобно пропасти в тумане.

Примечания автора

(1) См.: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden, 1935, S. 132.

Примечания переводчика

\*Имеется в виду так называемая "славная революция" в Англии, в результате которой произошла смена королевских династий.

\*\* "Пробуждение" -- протестантское движение за евангелизацию политики, социальной сферы, воспитания и просвещения, распространившееся с начала XX века из Женевы в страны, где влиятельное положение занимал кальвинизм (Франция, Бельгия, Нидерланды)

### III. Нынешний культурный кризис в сравнении с прежним

Хотя возврата к прошлому нет, прошлое может давать нам поучительный урок, послужить ориентиром. Можно ли найти такие исторические прецеденты, когда культура какого-либо народа, государства, части света так же мучилась бы родами, как в наши дни? Культурный кризис -- понятие историческое. Поверяя его историей, сравнивая нынешнюю эпоху с предшествующими, можно придать этому понятию определенную объективную форму. Ибо нам известны не только обстоятельства возникновения и развития культурных кризисов прошлого, но также и завершающая стадия, исход этих кризисов. Наше знание о кризисах приобретает еще одно измерение. Порой целая цивилизация обрекалась на гибель, порой она возрождалась к новой, иной жизни. Мы можем оценить подобный исторический процесс как законченный случай. Хотя такого рода историческое вскрытие прошлого и не дает рецептов для лечения настоящего, более того, не дает и прогноза, мы не можем оставить неиспользованным ни единого средства, дабы распознать природу этого недуга.

Но здесь тотчас же вступает в силу жесткое ограничение. Материал для сравнения оказывается куда беднее, чем могло показаться на первый взгляд. Чуть ли не каждый год останки многочисленных культур и цивилизаций встают перед нашими глазами из-под песков пустыни, из каменных руин обезлюдившей местности, из моря тропической зелени, но как бы красноречивы ни были эти останки, внутренняя их история слишком мало нам известна, и единственное, о чем тут вправе мы судить, -- это о катастрофических причинах упадка и гибели данных культур. Даже Древний Египет и Древняя Греция едва ли дают довольно материала для более или менее верного сопоставления. Только двадцать столетий, минувших со времен господства императора Августа и жизни Христа, отстоят от нас достаточно близко, чтобы провести плодотворное сравнение.

Можно поставить вопрос: знала ли культура в эти двадцать столетий иное состояние, кроме кризиса? Не состоит ли вся человеческая история сплошь из риска? -- Без сомнения, так оно и есть, но это всего лишь прописная жизненная мудрость, годная ко времени для мировоззренческих декламаций. Для исторического же суждения можно с тем же успехом найти совершенно определенные периоды, которые отличает ярко выраженный кризисный характер, где исторический процесс нельзя трактовать иначе, как интенсивный культурный поворот. Мы имеем в виду такие периоды, как переход от Древнего мира к Средневековью, переход от Средних веков к Новому времени, затем от XVIII к XIX веку.

Рассмотрим для начала 1500 год. Перемены к тому времени произошли колоссальные: открыта Земля, разгадано строение мира, Церковь раскололась, начал работать печатный станок, множа слово в его бесконечно возросшем многообразии, созданы новые, более опасные виды оружия, бурно развиваются кредитная система и денежное обращение, заново открыта греческая античность, старая архитектура теряет почву, развертывает свои титанические силы искусство. Теперь перейдем к периоду 1789 -- 1815 годов. Снова мировой процесс звучит раскатами грома. Первое государство Европы, павшее от химер философов и ярости толпы, возрождается вновь благодаря деяниям и удаче военного гения. Возвещается свобода, рушится авторитет Церкви. Европа растерзана в клочья и затем опять склеена воедино. Уже пыхтят паровые машины и грохочут ткацкие станки.

Наука завоевывает себе одно владение за другим, немецкая философия возвышает мир духа, немецкая музыка украшает жизнь. Америка добивается политической и экономической зрелости, в культуре же остается гигантским ребенком.

На первый взгляд кажется, что и в ту и в другую эпоху сейсмограф истории показывает столь же резкие колебания, что и ныне. При поверхностном наблюдении можно заключить, что подземные толчки, смещения пластов и приливные волны тогда были не менее разрушительны, чем в наши дни. Однако если опустить лот поглубже, то скоро обнаружится, что и в эпоху Ренессанса и Реформации, и в эпоху Французской революции и Наполеона основы общественного бытия не были расшатаны так же сильно, как это происходит сейчас. И, что особенно важно, в течение обоих критических периодов надежда и идеалы гораздо значительнее влияли на общее настроение в области культуры, чем это, по-видимому, имеет место в настоящее время. Хотя и тогда были люди, которым казалось, что вместе с дорогим их сердцу прошлым весь мир пойдет ко дну, однако чувство грозящего краха всей цивилизации не распространялось так широко и не основывалось на таком безошибочном ощущении, как теперь. И наша историческая оценка подкрепляет это положительное содержание тогдашних культурных метаморфоз: *чаще всего мы воспринимаем их не иначе, как восхождение, развитие, подъем.*

Краеугольные камни в основании общества, как мы уже говорили, были меньше поколеблены в периоды около 1500 и около 1800 года, чем в настоящий период. Как горячо ни пылала со времен Реформации взаимная ненависть католического и протестантского лагерей, как ни ополчались они друг на друга, общая основа их верования и церковной структуры гораздо больше сближает оба стана и делает разрыв с прошлым гораздо меньшим по сравнению с той пропастью, которая зияет между сторонниками полного отрицания веры в бога вообще и христианства в частности, с одной стороны, и восстановления веры на старом христианском фундаменте -- с другой. О принципиальном и аргументированном отказе от положений христианской этики (если не считать самых фантастических извращений) в XVI веке речи еще не было, а около 1800 года это носило лишь спорадический характер. Изменения государственного строя, в числе всех прочих новшеств Французской революции, были в период 1789 -- 1815 годов, не говоря уже о XVI веке, гораздо менее глубокими по своим последствиям, нежели те, которые испытал мир после 1914 года. Ни XVI, ни начавшийся XIX век еще не знают систематического подтачивания общественных устоев и общественного единства посредством учения, например, о классовых противоречиях и классовой борьбе. Хозяйственная жизнь обоих названных периодов переживает свои кризисы, но им еще далеко до угрожающего разлада. Большие экономические сдвиги в XVI веке: вирулентный капитализм, крупные банкротства, общий подъем цен -- еще не вызывают таких последствий, как спазматическое состояние мировой торговли в настоящее время или перемежающаяся лихорадка на денежном рынке. Финансовые беды в период после 1793 года не идут ни в какое сравнение с нашими затяжными приступами инфляции, обесценивающими валюту. Да и так называемая промышленная революция (термин этот нельзя считать бесспорным) носила характер одностороннего роста, а не мощного переворота.

Дабы убедиться в лихорадочном состоянии нынешней культурной жизни, возьмем еще один чувствительный прибор для измерения ценностей -- искусство. Все переходные этапы -- от кватроченто и вплоть до рококо, -- через которые оно проходило, были постепенными, консервативными. Все эти столетия строгая проверка на "школу" и техническое мастерство неизменно сохраняла непререкаемую силу в качестве первейшего и естественного условия. Только с импрессионизмом начинается обесценивание этих принципов, что в конце концов откроет дорогу бурлескной череде подстегиваемых модой художественных эксцессов, как это продемонстрировали нам первые десятилетия текущего века.

Резюмируем сказанное: сравнение нашей эпохи с периодами около 1500 и около 1800 годов рождает общее впечатление, что в настоящее время мир переживает более интенсивный и глубокий разлад, нежели в оба указанных периода.

Остается, таким образом, еще выяснить, в каких пределах можно сравнивать наблюдаемые нами перемены с теми, что совершились на рубеже Древнего мира и Средних веков, в границах Римской мировой империи. В самом деле, перед нами события, которые, согласно представлению многих, вновь нас ожидают: высокая и богатая культура мало-помалу уступает место другой, изначально, вне всякого сомнения, стоящей на более низком уровне и гораздо хуже организованной. Но нашему сравнению с первых же шагов препятствует одно глубокое отличие. Эта нисходящая культура к концу пятого века новой эры принесла в качестве наследия прошлого и передала следующим поколениям высокую форму религии, о которую в известном смысле разбилась сама культура античности. Варварство заключало в себе мощный метафизический элемент. Несмотря на свой пафос отрицания мирской жизни, христианство стало движущей силой, позволившей из веков варварства родиться и расцвести высокой гармонической и замкнутой средневековой культуре XII и XIII веков, ставшей тем фундаментом, на котором по-прежнему зиждется современная цивилизация.

Воздействует ли на наше время столь же мощно, как и тогда, эта идея сверхъестественного разума в качестве силы, что творит будущее?.. Продолжим, однако, наше сравнение. Если отвлечься от триумфального шествия христианства, то все происходящее в культуре Римской империи представится нам косностью и вырождением. Мы видим, как окостеневают, сокращаются, иссыкают и вовсе пропадают высокие потенции социального регулирования, духовной деятельности и форм ее выражения. Государственный аппарат неудержимо теряет способность целесообразно и эффективно выполнять свои функции. В техническом развитии наступил застой,

производство во всех областях неуклонно снижалось, дух человеческий ленился исследовать мир, а искусство главным образом консервировало старые формы или довольствовалось подражанием. По всем этим признакам культурный процесс поздней античности, казалось бы, имеет очень мало общего с тем, о котором идет речь. Во всяком случае, большинство перечисленных функций культуры сейчас по видимости отличается возрастающей интенсивностью, разнообразием и совершенствованием. Кроме того, в корне различны и общие условия. В те далекие времена определенное множество народов пусть непрочно и недостаточно, но все же весьма существенным образом было связано в одно мировое государство. Ныне мы живем в чрезвычайно крепко организованной системе отдельных соперничающих государств. В современном мире все неограниченной господствует техническая эффективность, продолжает расти производительность человеческого труда, каждый день приносит нам новые открытия, и в них торжествует дух познания неведомого. Совершенно иным стал сам исторический темп перемен: что прежде измерялось столетиями, сейчас укладывается в годы. Одним словом, сравнение с периодом 200 -- 600-х годов н. э. дает слишком мало точек соприкосновения, чтобы прийти к прямым и серьезным заключениям относительно нынешнего кризиса культуры.

И тем не менее при всех контрастах и различиях напрашивается один важный вывод. Путь древнеримской культуры привел ее к варварству. Идет ли нынешняя культура тем же путем?

--- ---

Что бы ни давали нам исторические параллели для понимания сегодняшнего кризиса, рассеять наше беспокойство насчет возможного исхода этого кризиса они не могут. Никакие исторические аналогии не в состоянии внушить уверенность, что дело не пойдет так далеко. Мы по-прежнему держим курс в штормовое море неизвестности.

Отметим еще одно важное отличие от прежних эпох интенсивной культурной жизни. Цель, которую они преследовали, и средства для достижения этой цели представлялись людям того времени в простом и недвусмысленном обличье. Как мы уже говорили, почти всегда целью этой было **возрождение**, возврат к былому совершенству или первоначальной чистоте. Идеал этот был ретроспективным. И не только идеал, но и средства его достижения. Метод действия был прямо под рукой, и заключался он в усвоении и приложении **старой** мудрости и **старой** добродетели. Старая мудрость, старая красота, старая добродетель были именно **той** мудростью, **той** красотой, **той** добродетелью, в которых нуждались люди, дабы содейть в подлунном мире столько порядка и столько благоденствия, сколько может он вместить. Когда замечались упадок и затмение, тогда самые благородные умы вроде Бозция в канун Средневековья имели обычай хранить мудрость предков, чтобы передать ее будущим поколениям как путеводную нить и дорожный посох. Это делалось для вящего блага потомков: чем было бы Раннее Средневековье без Бозция? Когда люди сознавали, что вокруг происходит обновление и подъем, то и тогда с удвоенным тщанием утраченная мудрость извлекалась на свет божий не только бескорыстной науки ради, но и чтобы **возродить** ее для пользы живущих; так было с римским правом, так было с Аристотелем. С такой именно целью гуманизм XV и XVI веков представил миру заново открытые сокровища облагороженной античности -- представил как неувядаемый образец мудрости и культуры. Если не для того, чтобы на них клясться, то, во всяком случае, для того, чтобы, опираясь на них, строить новую культуру. Почти все сознательные и намеренные культурные акции минувших столетий так или иначе вдохновлялись принципом подражания прошлому как непревзойденному идеалу.

Мы стали чуждаться подобного пиетета перед стариной. Если наша эпоха ищет, хранит, бережет, постигает красоту, мудрость, величие прошлого, то уже не для того, во всяком случае не в первую голову для того, чтобы снова брать с них пример. Даже для тех, кто, возможно, склонен ставить прошлое выше настоящего, поднимая на щит его религию, его искусство, наконец, прочное и здоровое общественное устройство, даже для них культурная тенденция уже больше не указывает в сторону фиктивного идеала -- возрождения старины. Мы не можем и не хотим более ничего другого, как смотреть и двигаться вперед, в неизведанные дали. Со времен Бэкона и Декарта взгляд мыслящего человечества, который прежде так часто устремлялся на совершенство древней культуры, обращен в другую сторону. Вот уже три столетия, как человечество осознало, что оно должно само искать себе путь. Мысль, что, только непрерывно двигаясь вперед, можно глубже проникнуть в неведомое, стала мощным импульсом, способным привести к самым крайним результатам, когда это движение вырождается в тщеславную и безудержную погоню за чем-то абсолютно новым, а старое отвергается с порога лишь потому, что оно старое. Однако подобная установка типична только для незрелых или пресыщенных умов. Здоровый дух не боится брать с собой в дорогу весомый груз ценностей прошлого. Мы знаем наверняка: если мы хотим сохранить культуру, то должны продолжить ее созидание.

#### IV. Основные условия культуры

Культура -- это слово теперь постоянно у всех на устах. Но точно ли определено, что мы под ним разумеем? И почему это слово -- cultuur -- вытесняет из нашего речевого обихода доброе нидерландское "beschaving"? На этот последний вопрос ответить совсем нетрудно: "cultuur", культура как международный термин и общее понятие, несет более тяжелый груз значения, нежели ношенное "beschaving", которое слишком явно делает упор на эрудицию, -- собственно говоря, само это слово, "beschaving", и есть перевод слова "эрудиция". Слово "культура" через немецкое "Kultur" распространилось по всему свету. Нидерландский язык, скандинавские и славянские языки заимствовали его уже в незапамятные времена, оно имеет устойчивое хождение также в испанском, итальянском, в английском языке Америки. И лишь во французском и в английском (Великобритания) термин "культура" -- хоть и очень давно употребляется в определенном смысле наталкивается всегда на некоторое сопротивление: по крайней мере им нельзя смело заменить "civilisation". Это не случайно. Французский и английский языки в своем многовековом и богатом развитии как языки науки гораздо меньше нуждались в немецкой модели, формируя свою современную научную лексику, чем большинство других европейских языков, которые в течение XIX века все охотнее черпали новые термины и выражения из плодотворных немецких источников.

Освальд Шпенглер сделал оба терминологических варианта -- "Kultur" и "Zivilisation" -- двумя полюсами своей четко сформулированной и, пожалуй, слишком уж безапелляционной теории упадка. Мир читал его книгу, слышал звучащее в ней предостережение, однако и по сию пору еще повсеместно не признал ни его терминологии, ни правоты его суждений.

Слово "культура", как оно всеми употребляется, вряд ли может быть чревато каким-либо недоразумением. Всем **приблизительно** известно, что хотя бы этим словом сказать. Однако выясняется, что очень трудно определить его значение в точности. Что это такое -- культура, в чем она состоит? Почти невозможно дать такую дефиницию, которая бы целиком исчерпала все содержание этого понятия. С другой стороны, нетрудно перечислить важнейшие условия и черты, которые должны наличествовать для формирования феномена, именуемого культурой.

--- --- ---

В первую очередь культура требует известного равновесия духовных и материальных ценностей. Это равновесие создает предпосылки для развития такого состояния общества, которое оценивается всеми как нечто большее и высшее, чем простое удовлетворение голой нужды или откровенного властолюбия. Выражение "духовные ценности" охватывает здесь области духовного, интеллектуального, морального и эстетического. Чтобы понятие культуры было тут применимо, между всеми названными нематериальными сферами тоже должно существовать некое равновесие или гармония. Говоря об определенном равновесии, а не об абсолютной высоте, мы тем самым сохраняем за собой право оценивать в качестве культуры также и ранние, более неразвитые либо примитивные стадии, не впадая таким образом в одностороннее предпочтение высокоразвитых культур или в одностороннюю переоценку отдельно взятого культурного фактора, будь то религия, искусство, право, государственный строй или нечто другое. Состояние равновесия заключается прежде всего в том, что различные сферы культурной деятельности реализуют, каждая в отдельности, но все в рамках целокупности, возможно более эффективную жизненную функцию. Если есть такая гармония культурных функций, то она неизбежно проявится в порядке, мощном сочленении частей, стиле, ритмической жизни данного общества.

Само собой понятно, что при исторической оценке культур субъекту суждения столь же трудно отвлечься от общепринятых норм, как и при оценке собственного окружения. Всегда одно качество будет рассматриваться как желательное, другое -- как нежелательное. Следует при этом заметить, что общая оценка культуры как высокой или низкой определяется, по-видимому, в глубине своей не интеллектуальным и не эстетическим мерилем, а этическим и духовным. Культура может называться высокой, если даже она не создала техники или скульптуры, но ее так не назовут, если ей не хватает милосердия.

--- --- ---

Вторая основная черта культуры следующая: всякая культура содержит некое стремление. Культура есть направленность, и направлена культура всегда на какой-то идеал, а именно на идеал, выходящий за рамки индивидуального, на идеал сообщества. Идеал может быть самого разного рода. Он может быть чисто духовным -- блаженство, близость к Богу, отрешение от всех земных уз либо знание -- логическое или мистическое: знание естественной природы, знание своего "я" и духа, знание божественной природы. Идеал может быть общественным: честь, благородство, почет, власть, -- но все это всегда -- по отношению к обществу. Он может быть экономическим: богатство, благоденствие -- либо гигиеническим: здоровье. Для носителей культуры идеал всегда означает **"благо"**. "Благо сообщества, благо здесь или где-то, теперь или потом".



Имеется ли в виду потусторонняя жизнь или ближайшее земное будущее, мудрость или благосостояние, условием для стремления к этому идеалу или для его достижения всегда служит безопасность и порядок. Требование порядка и безопасности повелительно предписывается всякой культуре самой ее сущностью, ее свойством быть тенденцией, стремлением к чему-либо, направленностью на что-то. Из требования порядка вырастает все, что относится к власти, из потребности в безопасности -- все, что относится к праву. В сотнях разновидностей политических и правовых систем формируются все новые и новые группы людей, чье стремление к **благу** выражает себя в **культуре**.

--- --- ---

Конкретнее и позитивнее, чем обе вышеназванные основные черты культуры -- ее равновесие и направленность, -- представляется третья ее черта -- собственно говоря, первая исконная особенность, отличающая всякую настоящую культуру. **Культура** означает господство над **природой**. Культура зачинается в ту самую минуту, когда человек узнает, что его рука, вооружась грубым каменным долотом, способна делать вещи, ранее человеку недоступные. Он подчинил себе на благо частицу природы. Он господствует над природой, враждебной и дарующей. Он овладел **орудием труда**, он стал homo faber. Он использует эти силы для удовлетворения той или иной жизненной потребности, для изготовления, например, инструмента, для защиты себя и своих ближних, для умерщвления охотничьей добычи, хищного зверя или врага. Отныне он меняет ход природной жизни, ибо все последствия, которые повлекло за собой открытое им орудие, без этой силы просто бы не наступили.

Если бы эта черта -- господство над природой была единственным условием существования культуры, то не было бы оснований отказывать в культуре муравьям, пчелам, птицам, бобрам. Ведь все они используют предметы природы себе на потребу, превращая их в нечто другое. Дело зоопсихологии разобраться, насколько в этой деятельности уже присутствует представление о цели, то бишь стремление к благу. Если так оно и есть, то признание культуры за животным миром все же будет наталкиваться на вполне определенную логическую реакцию, а именно, что термин "культура" здесь неуместен. Культурная пчела или культурный бобр -- это не годится, в таком представлении есть что-то абсурдное. Дух не так легко вынести за скобки, как некоторым кажется.

В самом деле, если господствовать над природой значит строить, стрелять, жарить, то это еще только половина дела. Богатое слово "природа", "natura", означает также и природу человека, человеческую натуру, и ею тоже надо овладеть. Уже на простейших, начальных стадиях общества человек осознает за собой **некий долг**. У животного, которое кормит и защищает своего детеныша, в этой функции еще нельзя предполагать подобное сознание, хотя животное и трогает нам душу, выполняя эту свою функцию. Только в человеческом сознании функция заботы о потомстве превращается в **обязанность, в долг**. Этот долг объясняется лишь в малой степени естественными отношениями, такими, как материнство и защита семьи. Долженствование распространяется уже на ранней стадии в форме **табу**, условности, правил поведения, культовых представлений. Бездумное употребление слова "табу" привело в широких кругах к материалистичной недооценке этического характера так называемых примитивных культур. Мы уже не говорим о социологическом направлении, которое с неслыханной, поистине современной наивностью, отличающей и оценку развитых культур тоже, заталкивает, недолго думая, все, что называется моралью, правом, богобоязнью, в одну бутылку с этикеткой, на которой значится: "Табу".

В чувстве долга как обязанности этическое содержание возникает тогда, когда эта обязанность такого свойства, что от ее исполнения можно отказаться, вне зависимости от того, есть ли это долг по отношению к другому человеку, к некоему институту или к духовной власти. Этнологи, например Малиновский, уже доказали несостоятельность того взгляда, что в первобытных культурах люди просто механически и неукоснительно следовали общественному представлению о долге. Поэтому если в каком-то обществе признано и, как правило, соблюдается такое послушание, то происходит это под воздействием полноценного этического импульса, и тогда условие: господство над природой -- реализуется в форме обуздания собственной человеческой природы.

Чем больше в рамках культуры особые чувства долженствования подчиняются и включаются в общий принцип человеческой зависимости от высшей силы, тем чище и плодотворней будет реализовывав себя понятие, без которого ни одна истинная культура обойтись не может -- понятие **служения**. Начиная со служения Богу и вплоть до служения некоему лицу, поставленному над другим лицом обычными общественными отношениями. Искоренение понятия служения из народного сознания было самым разрушительным следствием поверхностного рационализма XVIII века.

Если теперь подытожить, что здесь было выдвинуто в качестве общих основных условий и основных черт культуры, то более приближенное описание понятия культуры, которое, как уже говорилось, не претендует на достоинства точной дефиниции, могло бы выглядеть, следующим образом:

*Культура как направленная позиция общества дана тогда, когда подчинение природы в области материальной, моральной и духовной поддерживает такое состояние общества, которое выше и лучше обеспечиваемого наличными природными отношениями, отличается гармоническим равновесием духовных и материальных ценностей и характеризуется определенным идеалом, гомогенным в своей сущности, на который ориентированы различные формы деятельности общества.*

--- --- ---

Если приведенное описание -- из которого никак нельзя элиминировать оценочные суждения "выше" и "лучше", хотя в них и присутствует субъективный элемент, --справедливо даже отчасти, тогда отсюда следует один вопрос: выполняются ли основные условия культуры в нашу собственную эпоху?

Культура предполагает освоение природы, господство над природой. Эта предпосылка, судя по всему, действительно реализована, притом в таких масштабах, которых доселе не знала ни одна из нам известных цивилизаций Силы, о самом существовании которых вряд ли даже подозревали в прошлом столетии, чья природа и возможности были совершенно неведомы, запряженные теперь в ярмо человеческой волей, тысячами способов стирают свое могущество в такие дали и в такие глубины, о которых предшествующее поколение и не мечтало. И поныне чуть ли не каждый день продолжается открытие неизведанных сил природы и средств овладения ими.

Вещественная, материальная природа лежит повсюду в выкованных или сплетенных человеком узах. Но как обстоит дело с овладением **человеческой природой**? Не говорите здесь о триумфах психиатрии и социального обеспечения или борьбе с преступностью. Овладение человеческой природой может значить лишь одно: человечество, которое владеет собой, лично каждый индивидуум. Владеет ли собой современное человечество? Или хотя бы, поскольку совершенство ему не дано, достигает ли человечество этого пропорционально своему безгранично возросшему господству над материальной природой? Отважился бы кто-нибудь утверждать подобное! Не кажется ли нам скорее, что человеческая натура, пользуясь свободой, которую принесло ей господство над материальным миром, отказывается подчинить себе себя самое и отвергает все те завоевания духа, что казались ей **превосходящими природу**? От имени прав человеческой природы всюду ставится под сомнение обязывающий авторитет универсального нравственного закона. Такое предварительное условие культуры, как подчинение природы, господство над природой, выполнено лишь наполовину.

--- --- ---

Еще ничего не сделано для выполнения второго условия существования культуры, а именно что культура должна быть пронизана одним гомогенным, в главном, стремлением. Жажда блага, движущая каждым сообществом и каждым отдельным человеком, принимает сотни форм. Каждая группа стремится к своему собственному благу, без того, чтобы эти частные, групповые стремления к благу сливались в единый, превосходящий все и вся идеал. Но лишь наличие подобного всеобщего идеала, будь то достижимый либо иллюзорный идеал, может способствовать полному раскрытию понятия "современная культура"; хотя в последнюю и можно вкладывать самый широкий смысл. Так, прошлые эпохи выставляли в качестве общепризнанного идеала славу божью, как бы она ни толковалась: добродетель, справедливость, мудрость. Туманные и устаревшие метафизические понятия, говорит нам дух времени. Но с упразднением таких понятий попадает под сомнение само единство культуры. Ибо то, что заняло ее место, есть всего лишь совокупность взаимопротиворечащих желаний. Термины, связующие воедино все современные культурные устремления, можно найти только в ряду "благоденствие, могущество, безопасность" (мир и порядок тоже входят в этот ряд) -- все эти идеалы больше годятся, чтобы разделять, а не объединять, и все непосредственно вытекают из природного инстинкта, не облагороженного духом. Эти идеалы были знакомы уже пещерным людям.

В настоящее время много говорят о национальных культурах и классовых культурах, иначе говоря, подчиняют понятие культуры идеалу благоденствия, могущества и безопасности. Такой субординацией понятие культуры фактически переводится на животный уровень, где оно теряет свой смысл. Поступая таким образом, забывают о парадоксальном, но на основе всего вышесказанного неопровержимом заключении, что для понятия культуры лишь там есть место, где определяющий ее направленность идеал выходит за пределы и поднимается выше интересов сообщества, которое этот идеал провозглашает. Культура должна быть метафизически ориентированной, либо ее нет вообще.

--- --- ---

Существует ли в современном мире, на Западе или на Востоке, то равновесие между духовными и материальными ценностями, которое мы приняли за важнейшее условие культуры? Вряд ли возможно ответить на сей вопрос утвердительно. В обеих сферах делается очень много, это так, но можно ли говорить о равновесии, гармонии, равноценности материальных и духовных потенциалов?

Повседневная жизнь вокруг нас опровергает всякую мысль об истинном равновесии. А доведенный до совершенства и предельной эффективности аппарат производства ежедневно порождает продукты и воздействия, которых никто не желает, которых никто не может использовать, которых каждый боится, а многие презирают как недостойные, бессмысленные, негодные. Хлопок закапывают в землю, чтобы не сбивать рыночные цены, военное снаряжение легко находит сбыт, хотя никто не желает, чтобы оно было пущено в ход. Диспропорция между совершенным аппаратом производства и возможностью применять произведенное на пользу людям, перепроизводство в соседстве с нуждой и безработицей --все это едва ли оставляет место для понятия равновесия, для мыслей о равновесии. Существует сходным образом интеллектуальное

перепроизводство, постоянно растущий поток напечатанных либо выброшенных в эфир слов и прямо-таки безнадежная дивергенция мысли. Вокруг художественной продукции образовался порочный круг, внутри которого художник зависит от рекламы, то есть от моды, а та и другая зависят от коммерческой выгоды. Начиная с политической жизни и вплоть до жизни семейной -- всюду наблюдается разлад, какого никогда прежде не бывало. Равновесие? Нет, конечно же, ничего подобного.

## V. Проблематический характер прогресса

Прежде чем рассматривать пристальнее различные явления культурного кризиса, представляется целесообразным выслушать иное мнение, помимо мрачных пророчеств, граничащих с отчаянием.

Наше суждение о делах человеческих никогда не сможет полностью освободиться от влияния сиюминутных настроений. Если они негативны, то существует объективная вероятность того, что наше восприятие будет окрашено в темные тона пессимизма. Если мы предпочитаем видеть минувшие эпохи: Элладу в период апогея, расцвет Средневековья, Возрождение -- в свете равновесия и гармонии, а в настоящем времени видим только расстройство и смятение, то здесь на ходе наших мыслей непосредственно сказывается гармонизирующее влияние далекого прошлого. Прежде чем анализировать эти симптомы, мы должны предварительно ввести в наши расчеты "вероятностную ошибку". Не может быть эквивалентности между нашими отвлеченными оценками прошлого и нашими запутанными суждениями о событиях нынешнего времени, в которых мы сами участвуем. Вполне можно допустить, что в окончательном суждении о нашей эпохе, пока еще невозможном, доставляющие нам сейчас массу хлопот явления названы будут поверхностными либо преходящими. Пустячная неприятность может лишить вас нормального сна, отбить аппетит, помешать в работе или испортить настроение, хотя ваш организм здоров либо близок к выздоровлению. Но есть еще признаки того, что под слоем терзающих нас общественных и культурных неурядиц по-прежнему идет тем не менее здоровый кровоток общественной жизни, и он сильнее, чем мы склонны думать.

Но мы сами все вместе представляем собой в одно и то же время и врача и пациента. Что болезнь существует, сомнений быть не может, нормально организм уже не функционирует. На симптомы болезни должно быть направлено наше внимание, на выздоровление -- наши надежды.

Вот пример логического аргументирования образным языком патологии. Толковать общие понятия без образной речи невозможно, и метафоры вроде "недуг" или "расстройство" здесь вполне уместны. Во всяком случае, сам "кризис" -- термин Гиппократов. Для общественной и культурной сфер ни одно сравнение не годится лучше медицинского. Ясно как день, что наше время страдает лихорадкой. Может быть, это лихорадка роста? Кто знает! Дикие, бредовые фантазии, бессвязная речь. Или же перед нами нечто большее, серьезнее, чем скоропреходящее возбуждение мозга? Нет ли тут оснований говорить о навязчивых галлюцинациях как результате глубокого поражения центральной нервной системы?

Будучи отнесена к явлениям современной культуры, каждая из этих метафор имеет свой совершенно определенный смысл.

--- --- ---

Самые заметные и самые чувствительные расстройства происходят в экономической жизни. Каждый замечает или чувствует их на себе изо дня в день. Не с такой непосредственностью дают о себе знать эксцессы политической жизни, которые типичный средний наблюдатель воспринимает главным образом через газету. Если же охватить взглядом сразу и экономические и политические симптомы болезни, то, судя по результатам этого постепенного патологического процесса, дело выглядит так: приблизительно уже столетие, как владение средствами производства достигло такой степени совершенства, при которой общественные силы, не объединенные и не направляемые единым принципом, превосходящим цели каждой из этих общественных сил в отдельности ("Государство" таковым принципом не является), работают каждая сама по себе с избыточной эффективностью, пагубной для гармонии организма в целом. Это относится к машиностроительной промышленности и технике вообще, к транспорту и средствам связи, к мобилизации народных масс через политические и другие виды организации на основе всеобщего образования.

Если исследовать развитие каждой из этих общественных сил и средств в отдельности, не прибегая к ценностным критериям, тогда к этому развитию можно с полным основанием применить понятие прогресса, ибо потенциал всех этих сил и средств возрос неимоверно. Собственно, прогресс как таковой указывает только направление движения, и ему безразлично, что ожидает в конце этого пути -- благо или зло. Мы, как правило, забываем, что только поверхностный оптимизм наших прадедов из XVIII и XIX веков впервые связал с чисто геометрическим вектором "вперед" уверенность в bigger and better (больше и лучше). Ожидание, что каждое новое открытие или усовершенствование непременно выполнит обещание более высокой ценности или большего счастья, есть весьма наивная вещь, наследство чарующей поры интеллектуального, морального и сентиментального оптимизма XVIII века. Нет ничего парадоксального в утверждении, что в ходе весьма существенного и бесспорного прогресса та или иная культура может найти свою гибель. Прогресс -- рискованное дело и двусмысленное понятие. Во всяком случае, может случиться, что на его пути где-то впереди обрушился мост или дорогу перерезала расщелина.

## **VI. Наука у предела возможностей мышления**

Для того чтобы начать описание кризисных явлений в культуре, как нельзя больше подходит область науки. Ведь именно здесь находим мы в одно и то же время очевидный бесперебойный прогресс и глубокое кризисное состояние, а вместе с тем неколебимую уверенность, что поступательное движение по этому пути неизбежно и сулит благоденствие людям.

Начиная с XVII века и вплоть до наших дней, в развитии научной и философской мысли почти по всем направлениям можно бесспорно констатировать позитивный и безостановочный прогресс. Почти каждая отрасль науки, включая философию, и донныне продолжает повседневно углубляться и совершенствоваться. На очереди дня стоят все новые поразительные открытия -- вспомним хотя бы открытие космических лучей или положительных электродов. Особенно успешен прогресс в естественных науках -- прежде всего благодаря незамедлительному использованию в технике всякого вновь приобретенного знания. Но это в равной мере относится также и к наукам, исследующим культуру, и к смежным для двух главных областей науки математике и философии; все они проникают во все более глубокие слои познаваемого мира, вооружаясь все более эффективными средствами наблюдения и отражения.

Все это тем более впечатляет, если вспомнить, как приблизительно в 90-е годы XIX века тогдашнее поколение жило в убежденности, что развитие науки скоро достигнет своего предела. Система человеческого знания, казалось, была выстроена уже целиком и полностью. Правда, оставалось еще кое-что обтесать и отшлифовать, с течением времени не исключалось появление новых данных, но больших перемен в структуре и формулировании добытого знания вряд ли можно было ожидать. И как же иначе все обернулось! Если бы сыскался в 1879 году новый Эпименид от науки, что, удалившись в свой грот, проспал бы там семь раз по восемь лет кряду \*, то, пробудившись ото сна в наши дни, он бы, пожалуй, не понял даже языка науки ни в одной из ее отраслей. Термины физики, химии, философии, психологии, языковедения, если ограничиться несколькими дисциплинами, звучали бы для него воляпюком. Всякий, кто вздумает обозреть терминологический аппарат своей научной отрасли, тотчас же заметит: слова и значения, с которыми он ежедневно имеет дело, сорок лет назад вообще не существовали. Если же отдельные науки, например история, составляют исключение, то лишь потому, что они должны продолжать говорить на языке повседневной жизни.

Если мы теперь мысленно представим себе современное состояние всех наук и сравним его с тем, что было полвека назад, то нельзя будет сомневаться ни минуты, что движение науки означало прогресс, подъем, улучшение. Наука расширила свои пределы и обогатила свое содержание. Она заслуживает только положительной оценки. И тем самым обнаруживается поразительное следствие: от действительного, позитивного прогресса дух в этом случае не может или не желает отказываться. Мысль, что научный деятель будет сторониться всего нового, что пробивает себе дорогу, иначе как абсурдной не назовешь. Между тем не исключено, что в отношении искусства, которое развивается не по прогрессии, не является звеном некой

последовательной и непрерывной цепи развития, вполне могут найтись головы, которым вздумается забыть поступательное движение целого периода; во всяком случае, это встречается все снова и снова.

Пример науки являет нам, следовательно, чрезвычайно важную область культуры, в отношении которой не вызывает сомнения, по крайней мере до сих пор, прогрессивное развитие, судя по всему протекающее здесь последовательно и непрерывно. Это та сфера духа, где ему назначено идти прямым необратимым путем. Куда этот путь нас приведет, мы не знаем, как не знаем и того блага, что влечет нас на этот путь.

Ясно, однако, что этот неоспоримый и позитивный прогресс, означающий углубление, уточнение, очищение, короче, улучшение, привел научную мысль в состояние кризиса, выход из которого пока что скрыт в тумане. Эта всегда новая наука еще не отфильтровалась в культуру и не может этого сделать.

Удивительно высоко вознесшееся знание еще не ассимилировалось в новой гармонической картине мира, которая бы пронизывала и освещала нас, как светлое сияние, изливаемое на Землю солнцем. **Сумма всех наук еще не стала для нас культурой.**

Скорее представляется, что чем глубже наука зондирует действительность, чем тоньше ее расчленяет, тем сильнее она сотрясает и лишает стабильности самые основы нашего мышления.

Старые прочные истины приходится теперь отбрасывать; казавшиеся ключами к реальности общие термины, которые служили нам повседневно, не подходят больше к замку. *Эволюция?* -- Конечно, все так, но будьте очень осторожны с нею, поскольку само это понятие уже покрылось легкой ржавчиной. *Элементы...* -- Их неизменяемость ушла в прошлое. *Причинность...* -- Собственно говоря, это понятие вообще уже мало на что годится, оно рассыпается прямо у вас в руках. *Закон природы?* -- Разумеется, но о непрерываемом действии его теперь тоже лучше помолчать. *Объективность?* -- Она по-прежнему остается идеалом и долгом ученого, но способности ее до конца невозможно, по крайней мере в науках о культуре. Как тяжело вздохнет от всего этого наш новый Эпименид! Как обескуражено станет протирать он себе глаза, когда ему расскажут, что в некоторых науках (так утверждают, во всяком случае, математики) исследование настолько дифференцировалось, что даже ученые -- специалисты в смежных отраслях больше не могут понять друг друга. Но с каким радостным изумлением узнает он, что на очередь дня уже поставлено доказательство единства материи, так что химия, некогда зародившаяся в недрах физики, теперь снова должна будет в ней раствориться.

И снова возникает проблема: само средство познания становится ненадежным! В физических процессах микромира изучаемые явления должны неизбежно ускользать от наблюдения, поскольку эти процессы более тонки, чем имеющиеся научные приборы, особенно когда речь идет о скоростях, близких к скорости света. При исследовании бесконечно малых величин вносимые наблюдением искажения слишком значительны, чтобы можно было говорить о какой-то *объективности*. Действие *причинности* достигает здесь своего предела, за которым лежит поле недетерминированных процессов.

Явления, фиксируемые естествознанием в точных формулах, настолько далеки от нашей обыденной жизни, а отношения, открываемые математикой, столь несоизмеримо шире по значимости, чем система понятий, внутри которой движется наше мышление, что обе науки вынуждены были уже давно указать на негодность нашего старого и на первый взгляд вполне испытанного логического инструментария. Нам пришлось давно привыкнуть к мысли, что для познания природы нельзя довольствоваться евклидовой геометрией и тремя измерениями. Разум в своей старой форме, привязанной к аристотелевской логике, уже не в силах поспевать за развитием науки. Исследование побуждает мысль выходить далеко за пределы человеческих возможностей представления. Вновь открытый закон позволяет выразить себя в формуле, но возможность представления просто-напросто отказывается помочь нам осознать и действительно освоить новую реальность. Самоуверенное "*это так и есть*" редуцируется до "*это предстает таким*". Физический процесс предстает как действие частиц или волн в зависимости от того, с какой стороны на него посмотреть. Любое обобщающее суждение, помимо формулы, может быть выражено только на языке образов. Кто из нас, профанов, не хотел бы порой услышать от физика объяснение, должны ли мы те образы, в которых нам пытаются объяснить мир атомов, воспринимать как символы или же как голое описание фактических процессов.

Все наталкивает на вывод, что наука приблизилась к границам ментальных возможностей человека. Хорошо известно, что от постоянной работы в высших слоях духовной атмосферы, на которые человеческий организм явно не рассчитан, уже не одного физика охватывала угнетенность, граничащая с отчаянием. Но возвращаться назад он не может и не хочет. Профан вполне может уступить некоей ностальгии по уютной осязаемой реальности доброго старого времени, раскрыть своего Бюффона, дабы отвести душу на простой и ясной картине мира, в котором пахнет сеном и звенят трели ночной птицы \*\*. Но эта наука далекого прошлого теперь уже стала поэзией и историей, дух современного естествоиспытателя ориентирован совсем иначе.

Я спросил однажды Де Ситтера, не испытывал ли он подобной ностальгии, размышляя о расширении, пустоте и сферичности Вселенной. Серьезность его отрицательного ответа тотчас же открыла мне глаза на глупость вопроса.

Не сродни ли головокружение при мысли о безграничности науки тому состоянию, что испытывал дух человеческий, решаясь перейти от Птолемеевой модели мира к системе Коперника?

Категории, которыми до сих пор обходилось мышление, словно растворяются в воздухе. Стираются границы. Противоположности сближаются, обнаруживают свою совместимость. Все группы явлений переплетаются, будто в хороводе. Interdependence, взаимозависимость, становится паролем любого современного анализа человеческих и общественных фактов и явлений. Идет ли речь о социологии, экономике, психологии либо истории, всюду односторонняя, ортодоксально-каузальная трактовка должна уступать место признанию комплекса сложных многосторонних отношений и взаимозависимостей. Понятие *причины* вытесняется понятием *условия*.

Но можно пойти еще дальше. Культурологическая мысль становится все более антиномической и амбивалентной. "Антиномическая" должно означать, что мысль как бы парит между двумя противоположностями, которые прежде считались взаимоисключающими. "Амбивалентная" должно означать, что ввиду относительной равноправности двух противоречащих друг другу мнений оценочное суждение колеблется в выборе, как Буриданов осел.

Воистину есть все основания говорить о кризисе современного мышления и знания, о кризисе таком фундаментальном и таком остром, что вряд ли можно найти ему подобие в известных нам прошлых периодах духовной жизни.

--- --- ---

Это интеллектуальное слагаемое переживаемого нами общего культурного кризиса заслуживает уже потому особого внимания, что его можно гораздо легче констатировать и объективней описать, чем изъяны в активной общественной жизни, и потому еще, что его можно оценивать без предубеждения. Во всяком случае, интеллект обычно пребывает вне сферы вражды, конфликта и злой воли. Он выказывает симптомы кризиса, однако, строго говоря, это не расстройство и не аномалия. Разумеется, под интеллектуальным кризисом следует понимать не борьбу мысли, подавляемой прессом политики, но поступательное движение самой науки, как оно проявляет себя там, где дух еще обладает свободой, которая ему нужна, чтобы оставаться духом. Если отвлечься от странных блюд вроде марксистской или нордической матемистики, которыми иные всерьез пытаются нас потчевать, то такая свобода еще царит в первую очередь в области естественных наук с их вожатым -- математикой. Естествознание до сих пор сохраняет характер международной науки. Ход ее исследований пока не тормозит никакая предвзятость. Национальная самоизоляция стран пока не причиняет особого вреда мировому обращению естественнонаучных идей и сотрудничеству ученых. Субъектом науки, тем, кто ее "думает", по-прежнему остается человек, без дополнительных дефиниций и эпитетов. Гуманитарные, или культурные, науки были испокон веку теснее связаны с народным характером и географическими границами, чем естественные науки. Это лежит в природе самого объекта изучения. Уже по своей природе им гораздо труднее подниматься до уровня духовной свободы, который и сообщает им их научное качество. Угрозы насилия со стороны политики тотчас поражают их в самое сердце. Однако пока что горизонт гуманитарных наук вырисовывается довольно четко, видимость хорошая. И не сеющим слухи клеветам той или иной политической системы решать, что действительно нового будет поставлено этими науками на очередь дня: радикальные изменения метода и концепции, дальнейшее обогащение и переработка материала или новый синтез.

Посему если научная мысль во всей совокупной области оказывается в состоянии кризиса, то такой кризис наступает изнутри, а не от контакта с язвами больного общества. Само поступательное движение духа заводит науку на почти недоступные кручи и далее -- непроходимыми узкими тропами к вершинам, откуда уже, кажется, некуда больше идти. Ни человеческая глупость, ни духовный спад не причастны к кризису чистого мышления. Этот кризис вызван совершенствованием инструментов познания и ненасытностью самой воли к познанию.

Таким образом, этот кризис не только неотвратим, но и желателен и благотворен. По крайней мере в данном случае по-прежнему не вызывает сомнений, к чему же стремится наша культура. Она стремится и в дальнейшем идти вперед, обогащая свой арсенал, пробиваясь через всю неустойчивость и безвыходность нынешнего положения. Мысль ясно видит свой путь и должна этим путем следовать. Ни остановиться, ни пойти вспять она не имеет права.

Констатация простой уверенности, что хотя бы в этой крайне важной области курс проложен верно, несет в себе силы и утешение для тех, в чьих душах могло бы зародиться сомнение в будущем нашей культуры. Каким бы обескураживающим ни был кризис мысли, он способен лишь тех привести в отчаяние, кому не хватает мужества принимать эту жизнь и этот мир такими, какими они достались нам в дар.

## VII. Всеобщее ослабление способности суждения

Стоит нам только перевести взгляд с производства знания и мыслей на те способы, которыми это знание распространяется, а мысли усваиваются и входят в оборот, как меняется аспект дела. Все состояние того, что можно было бы назвать популярным мышлением, есть не только кризис вообще, но кризис, чреватый разложением и опасностью.

Какой наивной кажется нам теперь восторженная иллюзия прошлого столетия, что прогресс науки и распространение всеобщего образования сулят и гарантируют все более совершенное общество! Кто нынче всерьез поверит, что, обращая триумфы науки в еще более яркие триумфы техники, мы спасаем культуру! Или что, искореняя неграмотность, мы эту культуру насаждаем! Современное общество, всецело окультуренное и большей частью механизированное, выглядит, однако, совсем иначе, нежели мечталось нашему Прогрессу.

Наше общественное устройство полно внушающих опасения симптомов, которые можно было бы суммировать как "ослабление способности суждения". Конечно, это разочаровывает. Ведь мы живем в мире, который насчет самого себя, своего характера и возможностей просвещен во всех отношениях несравнимо лучше, чем это было на более ранних этапах истории. И объективно и по существу теперь известно лучше, чем прежде, как функционирует мировая система, как работает живой организм, как соотносятся феномены духовной жизни, как новые состояния возникают из предшествующих. Субъект Человек знает сам себя и окружающий мир теперь лучше, чем когда-либо прежде. Человек стал, в позитивном смысле, способнее к суждению. Способнее в аспекте интенсивном, поскольку дух глубже проникает во взаимосвязь и устройство вещей, способнее и в аспекте экстенсивном, поскольку знание равномерно объемлет все больше областей науки, и прежде всего потому, что неизмеримо больше людей теперь в той или иной степени причастны к научному познанию. Человеческое сообщество, взятое как абстрактный субъект, познало само себя. "Познай самого себя" во все времена считалось квинтэссенцией мудрости. Отсюда кажется неизбежным вывод: мир стал мудрее. *Risum teneatis...* \*

Однако мы не так наивны. Глупость во всех своих обликах, мелких и смешных, злых и порочных, никогда еще не правила таких оргий на белом свете, как в наше время. Для серьезного и остроумного трактата, освещенного улыбкой такого благородного мыслителя и глубоко чувствующего гуманиста, как Эразм, сейчас бы, пожалуй, она не была подходящей темой. Беспредельную глупость нашей эпохи надобно доскональным образом исследовать как болезнь всего сообщества, вскрывать ее проявления, трезво и деловито определять ее природу, наконец, задуматься о средствах исцеления.

Ошибка силлогизмов вроде нижеследующего: "самопознание есть признак мудрости -- мир знает себя лучше, чем прежде, значит, мир стал мудрее" -- кроется в двойной двусмысленности терминов. Во-первых, мир, то есть человечество, познает или действует не как абстрактный субъект, а проявляет себя в мыслях и поведении индивидуумов; во-вторых, в слове "знать" нерасторжимо присутствует двойственность "знания" и "мудрости". Последнее вряд ли нуждается в подробном разъяснении.

В обществе с обязательным народным образованием, всеобщей и немедленной гласностью событий повседневной жизни и широко проведенным разделением труда средний индивидуум все реже и реже оказывается в условиях, где от него требуются собственное мышление и самопроявление. Это обстоятельство принимает порой даже видимость парадокса. Во всяком случае люди обыкновенно думают, что в культурной среде с меньшей интеллектуальной интенсивностью и с менее широким распространением знаний мышление отдельного человека не так свободно, как в высоко развитой среде, будучи ограничено и определено узким кругом личного общения. Подобному более примитивному мышлению приписывают черты типичности, сходства по необходимости. Этому, однако, противоречит тот факт, что подобное мышление, всецело ориентированное на собственную сферу обитания, с ограниченными средствами и в более узких рамках, достигает известной самостоятельности, которая утрачивается затем на более организованных стадиях истории. В старые времена крестьянин, шкипер или ремесленник находил в целостности своего знания духовную схему, которой он поверял жизнь и мироздание. Он сознавал свою некомпетентность и не брался судить о том, что выходит за черту его кругозора (если только этот человек был не из породы болтунов, которых во всякие времена предостаточно). Там, где его суждение было недостаточным, он уважал авторитет. Именно благодаря своей ограниченности он бывал мудрым. И та же самая ограниченность его средств выражения, сдобриваемая изречениями из Священного писания и народными поговорками и пословицами, придавала ему стиль и подчас делала красноречивым (1).

Современная организация распространения знаний, однако, слишком явно ведет к утрате благотворного влияния такого рода духовных ограничений. Средний житель в странах Запада сегодня информирован обо всем понемногу. Рядом с завтраком на столе у него лежит утренняя газета, и достаточно протянуть руку, чтобы включить радиоприемник. Вечером его ждет синематограф, карточная игра или компания, и это после того, как он целый день, провел в конторе или на заводе, ничему существенному его не научивших. С незначительными различиями этот образ может служить усредненной картиной жизни всякого человека от рабочего до директора. Только жадное стремление к собственной культуре неважно, в какой области он станет ее добиваться, с какой предварительной осведомленностью и какими доступными средствами, -- может поднять его над этим уровнем. Хочу подчеркнуть, что речь здесь идет только о личной культуре в узком смысле слова, то есть об известном достоянии красоты и мудрости, необходимых человеку в жизни. Не исключена возможность, что этот человек с малым запасом тем не менее оказывается способен повышать достоинство своей повседневной жизни благодаря иным видам деятельности, нежели культурная в узком смысле слова, например в области религии, социального обеспечения, политики либо спорта.

Однако и там, где его воодушевляет искреннее стремление к знанию или красоте, из-за назойливого действующего аппарата культуры ему грозит реальная опасность приобрести свои понятия и суждения извне, в абсолютно готовом виде. Такое пестрое и в то же время поверхностное знание, такой духовный горизонт, слишком широкий для глаз, не вооруженных критической оптикой, должны неминуемо привести к упадку способности суждения.

Навязывание и безропотное приятие знания и оценок не ограничиваются интеллектуальной сферой в узком смысле. Современный средний индивидуум очень сильно подвержен напору дешевого массового продукта и в области эстетической. Избыточное предложение тривиальных продуктов фантазии внушает ему дурную и фальшивую схему, чреватую вырождением эстетического чувства и вкуса.

К этому добавляется еще другой и тревожный факт, от которого никуда не деться. В старых и более тесных общественных формах народ сам творит досуг, ища развлечения в пении, танце, игре и атлетике. Люди вместе поют, танцуют, играют. В современной культуре почти все сместилось: люди развлекаются тем, что **для** них поют, танцуют, играют другие. Споры нет, взаимоотношения исполнителей и зрителей заданы были с самого начала еще в древнейшей, первобытной культуре. Однако пассивный элемент постоянно возрастает по сравнению с элементом активным. Даже в спорте, превратившемся в могучий культурный фактор, на передний план выходит масса, **для** которой разыгрываются спортивные игры и зрелища. Устранение зрителя из активного участия в реальном действии заходит еще дальше. Между театром и синематографом лежит переход от созерцания игры к созерцанию тени этой игры. Слова и движение теперь уже суть, не живые действия, а всего лишь репродукции. Донесенный эфиром голос не более чем эхо. И даже наблюдение спортивных соревнований замещается суррогатами радиорепортажа либо спортивных новостей на газетной полосе. Во всем этом кроется известное обездуховление и истощение культуры. Это справедливо для киноискусства, и в особенности еще в одном, весьма важном аспекте.

Сама драматургия почти целиком переносится во внешнюю зрелищность, а произносимое слово играет всего лишь вспомогательную роль. Искусство созерцания сведено теперь к умению быстро схватывать и понимать непрерывно меняющиеся визуальные образы. Молодежь приобрела такой необыкновенный синематографический взгляд, прямо-таки поражающий старшее поколение. В общем и целом эта изменяющаяся духовная *Einstellung* (установка) означает исключение целого ряда интеллектуальных функций. Достаточно отдать себе отчет в различии между деятельностью духа, необходимой для того, чтобы смотреть комедию Мольера, и той, что требует от нас просмотр кинофильма. Мы не собираемся ставить интеллектуальное понимание выше понимания визуального, однако необходимо признать, что синематограф оставляет втуне целую группу эстетически-интеллектуальных средств восприятия, а это в свою очередь может усугубить затухание способности суждения.

Современный механизм развлечения масс в большой степени препятствует сосредоточению духа. Элемент участия -- "**растворяться** в чем-либо" и "**отдаваться** чему-либо" -- при механической репродукции изображения и звука теряет свою силу. Тут нет ни таинства обращения, ни таинства причащения. Обращение человека внутрь себя самого, к самому сокровенному, его причащение мгновению суть вещи, совершенно необходимые человеку, если он хочет овладеть, культурой.

Именно повышенная визуальная внушаемость, суггестивность является той ахиллесовой пятой, по которой бьет современного человека реклама, пользуясь ослаблением его способности суждения, способности самостоятельно думать и оценивать. Это равно относится и коммерческой, и к политической рекламе. Своими захватывающими образами рекламные объявления вызывают мысль о выполнимости какого-то желания. Реклама максимально насыщена чувственностью и экспрессией. Она возбуждает некое настроение и затем требует подтвердить его оценочным суждением, которое реализуется моментально, беглым взглядом. Если задать себе вопрос, как же, собственно говоря, воздействует реклама на индивидуума и каким образом выполняет она свою функцию возмещения, то ответ будет не таким уж и простым. Как узнать, решает ли индивидуум и в самом деле купить рекомендуемый товар после того, как рассмотрит или прочитает текст рекламного объявления? Или же в мозгу этого индивидуума фиксируется некое воспоминание, на которое он



механически реагирует? Еще труднее описать воздействие рекламы политической. Склоняется ли гражданин на своем пути к избирательной урне голосовать за ту или иную партию благодаря разным секирам, мечам, молотам, зубчатым колесам, сжатым кулакам, восходящим солнцам, окровавленным рукам и строгим лицам -- всей пестрой символике различных партий, которая предоставляется его глазам? Мы этого не знаем и должны с этой мыслью примириться. Одно бесспорно: реклама во всех ее формах спекулирует именно на ослаблении способности суждения и, благодаря своему неуклонному распространению и назойливости, сама ускоряет дальнейший упадок этой способности.

--- --- ---

Наша эпоха, таким образом, стоит перед лицом тревожного факта: два больших завоевания культуры, о которых как раз и шла тут речь, -- всеобщее образование и современная гласность -- вместо того, чтобы неуклонно поднимать культурный уровень, напротив, несут в своем развитии определенные симптомы вырождения и упадка.

В невиданных доселе масштабах и в самой разнообразной форме массам преподносятся всевозможного рода знания и сведения, однако с использованием этой суммы знаний в жизни дело явно не ладится. Непереваренные знания тормозят работу мысли, преграждают дорогу мудрости. Многознание превращается в маломудрие. Это ужасная игра слов, но, к сожалению, она несет в себе глубокий смысл.

Будет ли человеческое общество и дальше безнадежно страдать от процесса духовного обмеления? Будет ли этот процесс развиваться дальше? Или же он достигнет такой точки, когда недуг полностью исчерпает себя и сам собою исчезнет? Эти вопросы следует отложить до финала данного сочинения, хотя и тогда на них вряд ли можно будет дать окончательный ответ. Покамест же нам следует подвергнуть рассмотрению еще другие признаки деградации в интеллектуальной сфере.

Примечание автора

(1) См.: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden, 1935, S. 132.

Примечания переводчика

Risum teneatis... -- букв. "Можно ли удержаться от смеха, друзья?" -- (лат.) -- строка из "Послания к Пизонам" ("Наука поэзии" -- см.: Гораций. Оды, эподы, сатиры, послания. М.1983, с. 388

## VIII. Снижение критической потребности

Помимо всеобщего ослабления способности суждения, рассмотренной нами выше в ее внешних проявлениях, остаются еще основания и для того, чтобы посетовать на ослабление потребности в критике, помутнение критической способности, утрату представления об истинном и ложном. Эти пороки отмечаются на сей раз не как типичное явление у всей массы потребителей знания, а как органический изъян у поставщиков и производителей знания. Рядом с этими явлениями распадается соседствует другое, которое можно квалифицировать как нарушение функций науки либо злоупотребление средствами науки. Попытаемся теперь рассмотреть эти явления по порядку и в их взаимосвязи.

В то же самое время, когда наука развернула невиданную доселе способность овладевать природой, то есть еще шире распространила господство человека и достигла небывалой ранее глубины проникновения в структуру всего сущего, ее способность служить опорой и пробным камнем чистого знания и путеводной нитью жизни падает с каждым днем. Изменилось соотношение различных функций науки.

Таких функций было искони три; приобретение и приумножение знания, воспитание общества во имя более чисто, совершенной культуры и создание возможностей освоения и применения новых средств. В течение обоих столетий, ознаменованных подъемом науки, то есть XVII и XVIII, между двумя первыми функциями существовало известное равновесие, третья же оставалась еще далеко позади. Всеобщий энтузиазм вызывало неуклонное просветление познающего духа и отступление невежества. В те времена никто даже на минуту не мог бы усомниться, что наука играет высокую роль предводителя и наставника. На фундаменте науки строилось больше планов и надежд, чем этот фундамент вообще способен выдерживать. С каждым новым открытием люди начинали чуточку лучше понимать мир и его взаимосвязи. Это просветление сознания несло с собою в то же самое время и

определенный нравственный выигрыш. Зато упомянутая здесь третья функция науки -- использование ее достижений для поднятия технического потенциала, напротив, оставалась еще слабой. Электричество было курьезом для образованной публики. Средства передвижения и тяги вплоть до XIX века ограничивались почти одними прежними видами. Все три функции науки: воспитание, приращение знания и его техническое использование в XVIII веке можно выразить отношением 8:4:1.

Если определить то же отношение для нашей эпохи, оно может выглядеть приблизительно как 2:16:16. Соотношение трех функций абсолютно изменилось. Возможно, такое занижение воспитательной ценности науки по сравнению с познавательной и прикладной вызовет бурное возмущение. И все же: можно ли утверждать, что удивительнейшие открытия современной науки, но сути своей доступные пониманию лишь ограниченного слоя, в значительной мере способствовали повышению **общего культурного уровня**? Даже самое превосходное образование в университетах и средних школах ничего не меняет в следующем факте: хотя объем знаний и прикладная ценность науки с каждым днем безгранично возрастают, ее воспитательная ценность не стала больше той, что была у нее столетие назад, и уступает той, что была в XVIII веке, когда все было направлено на интеллектуальное формирование, при том что исходный уровень всеобщей образованности, достигнутый в настоящее время средней школой, уже давно превышает прежний.

Человек сегодня черпает свое знание не из науки -- за редчайшим быть может, исключением. Сама наука в этом не повинна. Мощное течение обходит ее стороной либо искажает ее суть. В ее способность быть наставницей, предводителем общества больше нет веры. И отчасти это справедливо: было время, когда она выдвигала слишком высокие притязания на мировое господство. Но кроме непосредственной реакции, есть тут и нечто другое. Виновато затухание интеллектуального сознания. С каждым днем снижается потребность как можно точнее и объективнее мыслить умопостигаемые вещи и самим критически проверять это мышление. Многие головы охватило далеко идущее помутнение мыслительной способности. Намеренно игнорируется любое разграничение логических, эстетических и аффективных функций. Без всяких критических возражений со стороны разума и даже сознательно вопреки ему в оценочное суждение позволяют вторгаться чувству независимо от того, каков характер обсуждаемого предмета. Намеренный, но сути дела, выбор, сделанный на основании аффекта, объявляется интуицией. Влияние интереса или желания смешивают с убежденностью, которая должна опираться на знание. И чтобы все это оправдать, выдается за необходимость сопротивление верховенству разума, что в действительности означает полный отказ от принципов логического мышления.

Диктат рационализма остался в прошлом, мы все уже давно его переросли. Мы знаем, что не все можно мерить меркой разумности. Само поступательное развитие мышления научило нас, что одного разума бывает недостаточно. Взгляд на вещи более глубокий и разносторонний, нежели чистый рационализм, открыл нам в этих вещах дополнительный смысл. Однако там, где мудрец черпает новый смысл в свободном и широком суждении о вещах, глупец находит лишь оправдание для новых нелепостей. Поистине трагическое следствие: начав осознавать ограниченный характер старой рациональной схемы, современная мысль в то же время оказалась в состоянии усвоить массу абсурдных истин, которым так долго противилась.

Отказ критического "вето" можно лучше всего проиллюстрировать несколькими соображениями о новейшей расовой теории. Антропология представляет собой важную ветвь того, что некогда называлось естественной историей. Это биологическая наука с весьма сильным историческим элементом, что роднит ее с геологией и палеонтологией. С помощью точного методического исследования на основе учения о наследственности она выстроила систему различения рас, уступающую в практической пригодности другим биологическим схемам только широкому диапазону сомнений насчет непогрешимости своих выводов, опирающихся на измерения черепа, и существенным варьированием систематизации этих выводов в каждом отдельном случае. Физическим признакам, по которым антропология с большей или меньшей основательностью проводит различение рас, по видимому, соответствует до известной степени духовная конституция этих рас, во всяком случае здесь можно предположить определенную взаимосвязь. Китаец и англичанин отличаются друг от друга не только физически, но и духовно, никто не станет этого отрицать. Тем не менее для подобной констатации в анализ феномена, именуемого расой, необходимо включить анализ феномена, именуемого культурой. И китаец, и англичанин суть продукты действия сложения "раса плюс культура". Иными словами, к предмету исследования прибавится величина, совершенно не поддающаяся измерению антропологическими мерками, прежде чем вообще можно будет прийти к какому бы то ни было заключению о признаках духовного различия рас. То, что духовные свойства человека непосредственно определяются антропологическими, остается лишь предположением, которое ни в коем случае не может быть безошибочным. Ибо не подлежит сомнению, что хотя бы часть духовных особенностей расы возникла и развилась в определенных жизненных обстоятельствах и под их воздействием. Эту приобретенную часть никакая наука не сможет дифференцировать от той группы свойств, что считается врожденной. Точно так же никакая наука не в состоянии доказать специфическую корреляцию между какой-либо отличительной физической чертой, например монгольским узкоглазием, и некоторым отличительным духовным свойством (при допущении, что подобная принадлежность того или иного духовного свойства целой расе вообще может быть доказана!). Коль скоро эти недостатки присущи расоведению, убеждение, что характер народа вытекает из его расы, является неверным в качестве абсолютного суждения и даже при всех неизбежных оговорках остается не более чем расплывчатой, сомнительной гипотезой. Ограничивая же его признанием, что конструктивным является только совокупное понятие "раса плюс культура", мы фактически отказываемся от требования научно фундированного расового принципа, и разумней будет не строить на нем никаких заключений.

Один пример. Коль скоро следует искать корни духовных способностей в расе, то очевидно, что из аналогичных способностей должно вытекать известное сходство самих рас. Евреи и немцы необычайно даровиты в философии и музыке, этих двух наиважнейших элементах культуры. В таком случае, наверное, можно говорить о близком сходстве германской и семитской расы. И так далее, в том же духе. Пример, конечно, смехотворен, однако не глупее тех выводов; что пользуются нынче успехом в широких кругах образованных людей.

Нынешняя мода на расовые теории в их применении к анализу культуры и к политике не объясняется одной только шумливой активностью антропологической науки. Здесь мы имеем дело с любопытной судьбой популярной доктрины, которая долгое время, и еще совсем недавно, была попросту вне рамок признанного и критически верифицированного культурного достояния. С самого же начала отвергнутая серьезной наукой как несостоятельная, она более полувека влачила свое существование в сфере дилетантизма и дряблого романтизма, пока внезапно не оказалась вдруг вознесена политическими обстоятельствами на пьедестал, с которого теперь позволяет себе провозглашать "научные" истины. Утверждение собственного превосходства на основе узурпированной расовой чистоты имело привлекательность для многих, поскольку оно недорого стоит его приверженцам и отвечает романтическому духу, не обремененному никакой критической потребностью и питаемому тщеславной жадностью самовозвышения. Демарши таких деятелей, как Х. С. Чемберлен, Шеман и Вольтман, были всего лишь отрыжкой плохо переваренного позднеромантического блюда. Успех Мэдисона Гранта или Лотропа Стоддарда, клеймивших рабочий класс как низшую расу, был сомнительного политического пошиба.

Тезис о расизме, принятый в качестве аргумента в борьбе внутри культуры, всегда служит самовосхвалению. Признал ли хоть однажды какой-нибудь теоретик расизма, испытывая при этом ужас и стыд, что раса, к которой он себя причисляет, должна быть названа низшей? У расиста одна забота -- возвышение себя и "своих" над всеми другими и за счет других. Расовая теория всегда враждебно направлена, всегда выступает с приставкой "анти". Это плохой показатель для учения, выдающего себя за науку. Позиция расиста -- антиазиатская, антиафриканская, антисемитская, антипролетарская.

Все сказанное никак не отрицает наличия серьезных проблем и конфликтов социального, экономического или политического характера, возникающих из сосуществования двух рас в одном государстве или регионе. Равным образом не отрицается и то, что неприязнь одной расы по отношению к другой может быть чисто инстинктивного свойства. Но в обоих случаях разделяющим является чисто иррациональный момент, и не дело науки -- возводить этот иррациональный момент в ранг критического принципа. Сам факт наличия подобных противоречий лишь ярче выявляет псевдонаучность прикладных расовых теорий.

Но если инстинктивная расовая неприязнь действительно вызывается биологическими причинами, как это можно предполагать в отношении многих белых людей, утверждающих, что они не переносят запаха негра, тогда цивилизованный человек должен был бы еще вчера почтенью своим долгом осознать животный характер этой реакции, чтобы по мере сил подавлять ее в себе, а не культивировать и не возвеличивать себя на этом основании. В обществе, построенном на принципах христианства, не могло быть места политике "на зоологической основе", как метко выразился в свое время "Osservatore Romano",\*. Для культуры, которая развязывает руки расовой ненависти, поощряет ее, условие "**культура есть господство над природой**" больше не имеет силы.

Осуждая политические спекуляции на расовой теории, необходимо, однако, сделать две оговорки. Во-первых, недопустимо смешивать ее с хорошо продуманной практической евгеникой. Мы не будем здесь касаться вопроса, что может дать эта наука, евгеника, для блага государства и человечества. Во-вторых, самовозвышение одного народа над другим не обязательно зиждется на расовых претензиях. Чувство превосходства у народов латинской группы языков всегда больше опиралось на качество культуры, нежели на расовые отличия. Французское "1a case", никогда не имело этого чисто антропологического смысла. Высокомерие и восхваление собственного культурного аристократизма могут быть несколько рациональнее и даже оправданнее, чем расовая спесь, но все же и они остаются формой духовного тщеславия.

С какой стороны ни подойти, прикладная расовая теория являет собой яркое доказательство снижения уровня требований, которые общественное мнение предъявляет чистоте критического суждения. Тормоза критики отказывают.

--- --- ---

Они "отказывают" и в некоторых других отношениях. Нельзя отрицать, что с возрождением потребности в синтезе наук о культуре, который с начала этого века неизбежно должен был последовать за периодом чрезмерного анализа (само по себе это -- благодатное и плодотворное явление), в научной продукции получила более высокий статус интуиция. Литература прямо кишит дерзкими попытками культурного синтеза, нередко построенного с ученым апломбом, когда "оригинальность" автора стяжает больше триумфа, чем ему может позволить осмотрительность науки. Философ культуры иной раз претендует на место, в прежние времена отводившееся *bel esprit* (остроумию). При этом не всегда бывает до конца ясно, насколько сам философ принимает себя всерьез, хотя и не скрывает желаний быть принятым всерьез читателями. Возникает нечто

среднее между культурфилософией и культурфантазией, так что даже человек искушенный не без труда отделит в таком гибриде зерна от плевел. Ориентация всей формы выражения на яркий эстетический эффект порой только усугубляет путаницу, которой отличаются подобные опусы.

Естественные науки не знают таких тревог. У них есть пробный камень в виде математической формулы, с помощью которого в любое время можно установить подлинное содержание продукта (подчеркиваем: речь идет о **подлинности**, а не об **истинности**). В их царстве нет места для *bel esprit*, и шарлатана тотчас выпроводят вон. В том обстоятельстве, что идеи формируются и находят себе выражение в сферах, включающих также эстетическое и чувственное, заключена, с одной стороны, привилегия, а с другой -- опасность для гуманитарных наук.

Весь процесс формирования оценочного суждения в области неточных наук теряет свою определенность, меж тем как естественные науки способны добиваться все большей четкости выводов и заключений. В науках о культуре строго рациональный подход уже не играет роли исключительного метода, как в былые времена. Характер оценок и суждений меньше, чем прежде, регулируется формулой и традицией. Для обозначения процесса формирования знания абсолютно неприменимыми стали слова вроде "видение" и "концепция", не говоря уже об "интроспекции" или "*Wesensschau*" (усмотрение сущности). Со всем этим в суждение вплетается изрядная доля этакой непринужденности. Конечно, непринужденность тоже **может** быть полезна. Но в деятельности духа она нередко означает известное колебание между твердым убеждением и беспечной игрой понятиями. Интеллекту, который себя строго проверяет, суждение типа "я действительно так думаю", учитывая антиномический характер мышления вообще, дается сейчас труднее, чем во времена схоластики или рационализма. Тем легче дается такое суждение уму поверхностному либо корыстному.

--- --- ---

Снижению масштабов критического суждения, как мне представляется, в немалой степени способствовало течение мысли, которое можно назвать по имени Зигмунда Фрейда. В чем тут дело? Психиатрия обнаружила важные данные, интерпретация которых привела ее из владений психологии на территорию социологии и культурфилософии. И вот тут дало о себе знать часто наблюдаемое явление: воспитанный на точном наблюдении и анализе дух, поставленный перед задачей культурфилософской, гуманитарной, то есть неточной, интерпретации, совершенно не знает никаких взвешенных критериев доказательства и принимается на чужой территории строить из любой случайной идеи далеко идущие умозаключения, которые не выдерживают испытания пробным камнем философско-исторического метода, столь здесь необходимого. Если ж, сверх того, сконструированная таким образом система воспринимается широкими кругами непосвященных в качестве бесспорной истины, а ее терминология используется как совершенно готовый и годный для всех и каждого инструмент мышления, тогда широкой массе людей с низким критическим уровнем гостеприимно распахиваются двери в науку, где они могут беззаботно резвиться. Кого не изумляли нелепые рассуждения, которыми пытаются объяснить мир и человека авторы популярных статей психоаналитического толка, довольствующиеся "символами", комплексами и фазами инфантильной душевной жизни, на основании которых они громоздят теорию за теорией, дабы извлекать отсюда свои заключения!

Примечание переводчика

\* "*Osservatore Romano*" -- (итал.): "Римский обозреватель", католическая газета, основана в 1861 году, с 1890 года -- официальный орган Ватикана.

## IX. Профанация науки

В лице теории расизма мы имеем дело с псевдонаукой, которая стремится занять место подлинной, чтобы обслуживать волю к власти. Но эта воля к власти находит гораздо более мощный и серьезный инструмент в подлинной науке, используемой для выбора, изобретения и производства орудий власти. "Знание -- сила", этот ликующий девиз буржуазно-либеральной эпохи, сейчас начинает приобретать зловещее звучание.

Наука, не сдерживаемая более уздой высшего морального принципа, без сопротивления отдает свои секреты гигантски развившейся, толкаемой меркантилизмом технике, а техника, еще менее удерживаемая высшим принципом, на котором держится культура, создает с помощью предоставленных наукой средств весь инструментарий, который требует от нее организм власти. Техника поставляет все, в чем нуждается общество для развития сношений и удовлетворения потребностей. Возможности еще далеко не исчерпаны: каждое новое научное открытие раздвигает горизонты, однако общество при его нынешней структуре еще не в состоянии реализовать все то, что могла бы дать ему техника в области жилья, пропитания, средств передвижения и распространения идей.

Но общество требует от науки и техники и новых средств разрушения. Не всякое уничтожение жизни есть результат военного насилия либо преступления. Борьба против недугов, которыми угрожает человеческой жизни мир растительных и животных организмов, будет рассматриваться в любом человеческом обществе как спасительная и допустимая -- даже необходимая -- всеми, за исключением разве тех, кто стоит на крайней точке зрения ненасилия, проповедуемой некоторыми индийскими верованиями. Поддержание порядка и отправление правовых норм могут точно так же потребовать насилия вплоть до уничтожения человеческой жизни.

Еще шаг -- и мы видим, как наука служит удушению зачатков жизни. Предупреждение беременности с помощью искусственных средств может служить сохранению общественного благосостояния и делать добро. Но понятие "освоение природы, господство над природой", полагаемое нами существенным условием культуры, сюда уже, собственно говоря, не подходит. Это уже не освоение природы, а грубое вмешательство в ее процессы, то есть потенциальное ее истребление. Та граница, за которой использование науки для таких целей становится злоупотреблением, зависит от моральной позиции в отношении ограничения рождаемости, а на эту позицию, как известно, существенным образом влияют религиозные воззрения.

Совершенно независимо от моральных критериев, помогающих различать здесь употребление во благо и злоупотребление, встает вопрос об общественных последствиях длительного ограничения рождаемости. Довольно часто слышатся голоса, предрекающие быстрое исчезновение народа, а с ним и культуры. Согласно расчетам на основе учения о наследственности и демографии, в случае дальнейшего ограничения рождаемости в размерах, достигнутых в настоящее время в большинстве стран Западной Европы, вымирание резерва местного народонаселения есть вопрос нескольких поколений (3). Если это верно, то тем самым проблема кризиса культуры значительно теряет свою остроту, поскольку нас уже заранее оповещают о неизбежности ее крушения. В самом деле, для чего беречь культуру, ежели не будет наследников, которым можно было бы ее завещать?

Как бы то ни было, мы не можем без оговорок признать, что наука, технически усовершенствовав и сделав гигиенически безвредным ограничение рождаемости, безусловно выполнила тем самым свою функцию во благо человечества и культуры.

Намного острее критика использования науки или злоупотребления ею там, где речь идет о производстве прямых средств уничтожения человеческой жизни и истребления человеческих благ в широких масштабах. Автор этих строк так же мало является радикальным пацифистом, как и приверженцем абсолютного непротивления. Его осуждение человекоубийства не только кончается перед лицом необходимой обороны индивидуума и обеспечения правопорядка; он, кроме того, убежден, что гражданин должен служить своему отечеству, убивать и умереть, если этого потребует его воинский долг. Однако, полагает он, можно вообразить такие обстоятельства, когда добровольное вымирание всего человеческого рода было бы предпочтительнее, нежели сохранение некоторых при вине всех и каждого.

Мировая война, лежащая за нашими плечами, раздвинула до крайних пределов наше представление о допустимом в политике. Мы поняли и примирились с мыслью, что, коль скоро война разразилась, совершенство научной техники вряд ли позволит оставить неиспользованными новые средства уничтожения, с воздуха и под водой, химического и баллистического рода. С чувством бессильного протеста мы видим, как сегодня мировая научная техника продолжает производить и совершенствовать эти средства. Но есть та точка, где наша личная готовность все это снести должна обрести предел. Это бактериологическая война. Судя по всему, возможности ведения войны путем рассеивания возбудителей болезни, открыто восхваляемые некоторыми, изучаются и развиваются в целом ряде государств (4). Можно, конечно, спросить: какая разница, убивают ли взрывчатыми веществами, газом или бактериями? -- В самом деле, дифференциация здесь чисто эмоционального порядка. Но как можно дойти до того, что люди **с помощью науки** станут бороться друг против друга теми средствами, которые всеми предшествующими культурами, от самой высокой до самой низкой, почитались за кару Господа, Рока, Демона или Природы; это было бы таким сатанинским глумлением над самим мирозданием, что для виновного человечества лучше сгнуться в собственном грехопадении.

Если же эта культура, в лоне которой мы живем, возродится заново, приведя мир к лучшему устройству общества и к более человеческой ориентации, то уже один тот факт, что бактериологическая война могла замыслиться всерьез, останется вечным и позорным пятном на недостойном поколении рода человеческого.

Примечания автора

(3) См.: Charles E. The Invention of Sterility. -- В сб.: The Frustration of Science. London, 1935.

(4). См.: Gore P. A. Bacterial Warfare. В сб.: The Frustration of Science. London, 1935.

## X. Отказ от идеала познания

Снижение критической потребности, помутнение критической способности, извращение функции науки -- все это ясно указывает на серьезные нарушения в культуре. Кто полагает, однако, что указав на эти симптомы можно в принципе отвести угрозу, тот глубоко заблуждается. Ибо ныне уже слышны громкие возражения тех, кто воображает себя носителем грядущей культуры; но мы вовсе не желаем, чтобы критическое знание возводилось на престол как судья наших поступков. Наша цель не думать и знать, а жить и действовать!

Именно в этом и заключается стержневой момент кризиса культуры -- конфликт между "знать" и "быть". Новым его не назовешь. Принципиальная недостаточность нашего знания стала очевидной уже в младенческие годы философии. Действительность, которую мы переживаем, в основе своей непознаваема, неисследима средствами духа, совершенно отлична от мышления. В первой половине XIX века эта старая истина, знакомая уже Николаю Кузанскому, была вновь подхвачена Кьеркегором. Как антиномия экзистенции и мышления она стала стержневой в его системе воззрений. Он не ушел, однако, с этой истиной дальше углубленного обоснования своей веры. Только те, кто шел за ним следом и независимо от него, но сходным путем, отвратили эту идею от образа Бога, после чего она вязла либо в нигилизме и отчаянии, либо в культе земной жизни. Ницше пытался выволить человека из его трагического отлучения от всякой истины, предположив за волей к познанию вещей более глубокую подоплеку, волю к жизни, которую он толковал как волю к власти. Прагматизм лишил понятие истины претензий на всеобщую значимость, поместив его в русло потока времени. Истина есть то, что обладает существенной ценностью для людей, ее исповедующих. Нечто есть истина, если и поскольку она имеет значение для определенного отрезка времени. Грубый ум мог бы легко понять: это имеет значение, стало быть, это истина. Следствием этого редуцированного, относительного понятия истины было известное духовное и моральное нивелирование идей, снятие всех различий между ними в градации и ценности. Социологически мыслящие философы, такие, как Макс Вебер, Макс Шелер, Освальд Шпенглер, Карл Манхейм, видели в *Seinsverbundenheit des Denkens* (обусловленности мышления бытием) исходный пункт, который делал их ближайшими соседями исторического материализма, заключавшего в себе *ex professo* (по роду занятий) антиноэтическую тенденцию. Так исподволь антиноэтические (5) течения века слились вместе в один мощный поток, который в скором времени должен был расшатать всегда считавшиеся незыблемыми дамы духовной культуры. Не кто иной, как Жорж Сорель в своих "Reflexions sur la violence" ("Размышлениях о насилии"), извлек из всего этого практически-политические выводы и таким образом стал духовным отцом всех современных диктатур.

Но не одни только диктатуры либо их приверженцы исповедуют подчинение жажды познания воле к жизни. Здесь дело идет о глубочайшей основе всего культурного кризиса. Этот духовный перелом и есть тот самый процесс, что определяет всю ситуацию, в которой мы пребываем.

Кто же возглавлял весь хоровод? Философия? А общество следовало за нею? А может быть, нужно перевернуть это высказывание и выразиться так: философия здесь плясала под дудку жизни. Само учение, которое знание подчиняет жизни, похоже, этого требует.

Отвергала ли культура когда-либо в прошлом познавательный идеал, то есть сам интеллектуальный принцип? Вряд ли удастся найти для сравнения подходящую историческую параллель. Систематический философский и практический антиинтеллектуализм, какой мы сейчас наблюдаем, и в самом деле есть нечто новое в истории человеческой культуры. Споры нет, в истории человеческой мысли не раз бывали повороты, при которых взамен чересчур далеко зашедшего **примата рационального постижения** на первый план выдвигалась воля. Такой поворот имел место, например, когда к концу XIII века рядом с идеями Фомы Аквинского утвердились идеи Дунса Скота. Но эти повороты касались тогда не жизненной практики или земных порядков, а веры, устремленности к самым глубинным основам бытия. И совершались неизменно **в форме познания**, как бы далеко на заднем плане ни оставался разум. Современное сознание легко путает интеллектуализм с рационализмом. Даже те способы духовного постижения, что, избегая пристрастия к логическому анализу и пониманию, хотели с помощью интуиции и созерцания проникнуть туда, куда заказан был путь рассудку, всегда были нацелены **на знание**

**ИСТИНЫ.** Греческое слово *gnosis* или индийское *jñana* достаточно ясно говорит, что даже чистой воды мистика остается познанием. Ибо кто же, как не дух, движется в мире интеллигибельного! Идеалом всегда оставалось постижение истины. Я не знаю ни одной культуры, которая бы отвергала познание в самом широком смысле или отрекалась от Истины.

Когда прежние духовные течения нарушали клятву верности, обет служения логическому аппарату, разуму, то случилось это ради чего-то **супра-рационального**. Культура, в наше время желающая задавать тон, отворачивается не только от рационального, но даже от интеллигибельного, и это ради чего-то инфра-рационального, ради инстинктов и влечений. Она выбирает волю, но не в том смысле, как Дунс Скот, направлявший эту волю на веру; нет, она предпочитает волю к земной власти, "бытие", "кровь и почву" вместо "познания" и "духа" (6).

Остается пока открытым вопрос, в чем именно неизбежное признание *Seinsverbundenheit*, *Situationsverbundenheit* (бытийной, ситуационной обусловленности) мышления было прояснением культурного сознания, а в чем оно, понятое слишком категорически, могло быть предвестием заката культуры.

Примечания автора

(5). Я использую это слово потому, что термин "антиинтеллектуальный" успел приобрести чересчур специфический оттенок; здесь же речь идет об общем понятии того, "что противится самому принципу познания".

(6). За ответом на вопрос, как надлежит понимать высказывание Гегеля, что философия есть "*ihre Zeit in Gedanken ergaßt*" ("эпоха, выраженная в мысли"), я отсылаю к работе: T h. Li 11. *Philosophie und Zeitgeist*, откуда явствует, насколько необоснованны апелляции приверженцев философии жизни к Гегелю.

## XI. Культ жизни

Модным ученым словечком, которое будет циркулировать в образованных кругах, без сомнения, станет "экзистенциальный". Я уже слышу его повсюду. Вскоре оно достигнет самой широкой публики. Там, где прежде, дабы убедить читателя, что он соображает лучше своего соседа, довольно долго обходились словом "динамичный", теперь говорят "экзистенциальный". Слово это позволит торжественно отступить от духа, послужит признанием отречения от всего, что есть знание и истина.

Высказывания, которые еще сравнительно недавно сочли бы слишком нелепыми даже для того, чтобы над ними посмеяться, нынче можно слышать в ученых собраниях. Так, на филологическом конгрессе в Трире в октябре 1934 года, если верить газетам, один оратор утверждал, что от науки нужно требовать не истины, а скорее "отточенных мечей". Когда другой без должной почтительности выразился о некоторых образчиках национального толкования истории, председатель упрекнул его в "недостатке субъективности". И это, прошу заметить, научный конгресс.

Так далеко зашло дело в цивилизованном обществе. Не следует думать, что кризис способности суждения ограничивается теми странами, где восторжествовал крайний национализм. Кто наблюдает за тем, что происходит вокруг, то и дело замечает, что у образованных людей, большей частью у молодых, все чаще дает себя знать известное равнодушие к тому, какова доля истины в их идейных представлениях. Нет больше четкого различия между категориями вымысла (*fictie*) и истории в простом, обиходном значении этих слов. Никого больше не интересует, можно ли проверить духовный материал на предмет его истинности. Самый разительный пример этого -- успех понятия "миф". Некий образ, в котором сознательно допускают элементы желаемого и фантазии, объявляют, тем не менее, "реальностью прошлого" и затем этот образ возвышают до роли путеводной нити жизни, тем самым безнадежно смешивая сферу знания и сферу желаемого.

Как только *seinsverbundene* (обусловленное бытием) мышление захочет выразить себя в словах, так тотчас же в логическую аргументацию вплетается не встречающая никаких помех со стороны критики фантастическая метафора. Поскольку жизнь не поддается выражению в логических терминах (с чем каждый согласится), тогда, чтобы выразить больше, нежели позволяет логический подход, слово берет поэзия. И так с тех пор, как мир узнал искусство поэзии. Но по мере развития культуры общество стало все отчетливее дифференцировать мыслителя

от поэта, отведя каждому свою епархию. Язык современной философии жизни вновь обращается вспять к примитивной стадии, сверх всякой меры усердствуя в поразительной путанице логических и поэтических средств выражения.

В числе последних особенное место занимает метафора крови. Поэты и мудрецы всех народов и поколений, дабы метко выразить в одном слове активный жизненный принцип, охотно использовали образ "крови". Хотя, взятые абстрактно, другие жизненные соки с таким же успехом могут передать идею родства и наследственности, в крови люди видели, чувствовали, слышали ток жизни, в пролитой крови видели убегание жизни, кровь означала мужество и борьбу. Образ крови издревле обладал священным значением, более того, стал выражением глубочайшей божественной тайны. Одновременно понятие крови оставалось многозначным термином для самых обиходных речений. Но трудно отделаться от мысли о возрождении мифологии, когда мы видим, как в наше время метафору крови включают в юридическое кредо современного государственного устройства, слышим, как министр, представляя новый уголовный кодекс, рассуждает о крови, так что его экспрессии мог бы позавидовать средневековый феодал.

Поборники философии жизни поставили с ног на голову саму иерархию крови и духа. У Р. Мюллер-Фрайенфельса я нашел такое высказывание: "Сущность нашего духа заключается не в чисто интеллектуальном знании, но в его биологической функции как средстве сохранения жизни" (7). Было бы, наверное, небезопасно для автора утверждать то же самое о функции крови!

-----

Одержимость жизнью, если выразиться словами ее пророков, следует рассматривать как показатель чрезмерного полнокровия. Благодаря техническому усовершенствованию всех жизненных удобств, благодаря всеми путями повышаемой безопасности существования, благодаря возросшей доступности всякого рода удовольствий, благодаря продолжительное время умножаемому и еще сохраняющему высокий уровень благоденствию современное общество очутилось в таком состоянии, которое древняя медицина назвала бы словом "plethora" (полнокровие). Мы жили в духовной и материальной роскоши. Жизнь ставится нами так высоко, потому что избавлена от всех трудностей. Постоянно обостряющаяся способность познания, легкость духовного общения придали жизни силу и дерзость.

Вплоть до начала второй половины XIX века даже состоятельные слои населения стран Запада сталкивались много чаще и непосредственнее с убожеством существования, нежели мы испытываем ее на себе сейчас, принимая все жизненные удобства как что-то нами заслуженное. Еще нашим дедам было лишь в самой ограниченной степени доступно утолять боль, излечивать раны или переломы, защищаться от холода, прогонять темноту, сноситься с другими людьми лично или передаваемым на расстояние словом, надлежащим образом соблюдать чистоту своего тела, устранять грязь и дурные запахи. Человек постоянно ощущал со всех сторон естественные препоны земному благополучию. Эффективные усилия техники, гигиены и санитарного обеспечения среды обитания избаловали человека. Он утратил эту мягкую резиньцию, это кроткое согласие с повседневной нехваткой жизненных удобств, усвоенное как необходимый опыт предшествующими поколениями. В то же самое время ему стала грозить утрата способности наивно относиться к счастью, которым удостаивала его жизнь. Жизнь стала слишком легкой. Моральные мускулы человека оказались не настолько сильны, чтобы выдержать ношу этого изобилия.

В прошлые культурные эпохи, будь то христианская или мусульманская, буддистская или любая другая, мы имеем дело со следующим противоречием. В принципе там отрицается ценность земного счастья по сравнению с блаженством на небесах или слиянием с Космосом. Поскольку, однако, все упомянутые религии признают за этим миром определенную ценность, то, признав ее однажды, они не оставляют или почти не оставляют места для отказа от самих жизненных ценностей, дарованных Богом, что было бы, во всяком случае, неблагодарным отвержением Божьих милостей. Как раз эта хорошо известная всем верующим брэнность каждого вершка земного благополучия и поддерживала признание его ценности. Твердая ориентация на потустороннюю жизнь могла привести к отказу от мира, но она не допускает никакой Weltschmerz (мировой скорби).

И в наши дни мы имеем дело в этих областях с противоречиями, но совершенно иными, чем прежде. Первое из них сводится к следующему. Возрастание безопасности, комфорта и возможностей удовлетворения своих желаний, короче говоря, гарантий обеспеченности жизни, с одной стороны, открыло широкий простор для всех форм девальвации бытия: философского отрицания жизненных ценностей, чисто чувственного spleen (сплина) или отвращения к жизни. С другой стороны, это подготовило почву для всеобщей уверенности в праве на счастье здесь, на Земле. Жизни предъявляются претензии. С данным противоречием связано другое. Амбивалентное положение, колеблющееся между наслаждением жизнью и ее отрицанием, характерно исключительно для индивидуального человека. Человеческое сообщество, напротив, принимает без колебаний и с небывалой прежде убежденностью земную жизнь как предмет всех своих чаяний и действий. Повсюду царит настоящий культ жизни.

Остается ответить на серьезный вопрос, может ли сохранять себя высокоразвитая культура без определенной ориентации на смерть. Все великие культуры, известные нам из прошлого, хорошо помнили такую ориентацию.



Есть признаки того, что философская мысль уже выбирается на эту стезю. Во всяком случае, это будет соответствовать течению, вдохновляющим философию жизни, ибо вполне логично, что доктрина, которая ставит существование выше познания, в свои установки неизбежно включает и конец существования.

Странные пришли времена. Разум, который некогда боролся против Веры и считал, что победил в этой борьбе, вынужден теперь, спасаясь от гибели, искать пристанища у Веры. Ибо только на испытанной и незыблемой основе живого метафизического познания абсолютное понятие истины со своими последствиями в виде совершенно непреложных норм нравственности и справедливости может противостоять нарастающему потоку инстинктивной жажды жизни.

Поразительное заблуждение! Бросаются в атаку против знания и понимания, используя при этом средства полужнания и недопонимания. Для доказательства никчемности познавательных средств нет иного пути, как только сослаться на другое знание, нежели то, которое отвергают. Реальность и сама жизнь остаются безмолвными и непроницаемыми. Всякое говорение включает в себя знание. Даже поэзия, которая наиболее страстно стремится через непосредственное ощущение жизни проникнуть в ее самые заветные глубины (я вспоминаю Уитмена и некоторые стихи Рильке), остается духовной формой, формой **знания**. Кто хочет всерьез проводить антиноэтический принцип, должен отказаться от речевой коммуникации.

Философия, которая заявляет априори, что основания истины для нее обусловлены определенной формой жизни, которой она служит, фактически представляет для носителей этой формы лишний груз, а для остального мира никакой ценности не имеет. Она служит единственно подтверждению уже признанного. Если познание никому не нужно, тогда зачем государству во имя престижа запрягать мыслителей впереди либо позади своей триумфальной колесницы? С них будет довольно супружеской постели, заступа и форменной фуражки.

Примечание автора

7. Цит. по: Criton. Historic en Mythe. -- "De Gemeenschap", Febr., 1935, p. 139.

## **XII. Жизнь и борьба**

Жизнь есть борьба. Это древняя истина. Христианство ведало ее во все времена. Ее значение как принципа культуры заключено уже в самой нашей предпосылке, что всякая культура несет в себе стремление. Всякое стремление означает борьбу, иными словами, применение сильной воли и крайнее напряжение сил, чтобы преодолевать препятствия, стоящие или возникающие на пути к цели. Вся терминология душевной жизни человека вращается в сфере борьбы. Одним из самых важных свойств живого организма является как раз то, что он в известной мере оснащен для ведения борьбы. Уже биологическая мысль проводит идею "жизнь есть борьба". Становится понятно, что для доктрины, которая все подчиняет требованию жизни, эта идея подходит как нельзя лучше в качестве девиза. Но какой смысл вкладывает она в этот девиз?

Христианская религия в силу своей сущности и целеустановки учит, что бороться надобно со злом. Зло есть отрицание всего того, что явлено человеку как Божья воля, мудрость, любовь и милосердие. Как таковое оно осознается индивидуальной человеческой душой. Стало быть, здесь в последней инстанции идет речь о поле борьбы, -- борьбы, которую может и должен вести сам человек против зла в самом себе. Но по мере того, как знание добра и зла, истины и лжи концентрируется в Церкви, общине либо земной власти, борьба против зла приобретает также экстенсивную форму, направляется вовне и вширь. Борьба против зла стала христианским долгом. Трагизм земного бытия, состояние "переплетенности и смешения" между *civitas Dei* и *civitas terrena* (градом Божиим и земным градом), откуда этот земной мир еще стоит, превратили историю христианства, то есть народов, исповедующих учение Христа, в нечто совершенно непохожее на триумфальное шествие христианства. Власть и авторитет, предписывавшие миру, что следует считать злом, поочередно были властью и авторитетом то богословских групп, цепляющихся за свои схоластические положения, то варварских империй, то воюющей за свое существование Церкви, то страстно верующих и слепо жаждущих народов, то впутавшихся в церковный конфликт политических правительств. Но куда ни кинуть взгляд -- на церковные соборы прошлого или на крестовые походы, на распрю между императором и папой или на религиозные войны, -- всегда и во все времена

имела хождение гипотеза, что причиной конфликтов и вражды было различное понимание истины и лжи, добра и зла. Это убеждение определяло и границы дозволенного христианину в такой борьбе. В границах христианства стрелка совести могла указывать на долг в пределах широкой шкалы -- от полного непротivления до бранного труда.

--- --- ---

Если поверить общепринятые современные понятия добра и зла оселком христианского принципа либо даже платонической точки зрения, то выяснится, что оснований для того, чтобы забыть или отринуть христианство в теории, гораздо больше, чем для его официального либо полуофициального неприятия (afzweiging). Оставим в стороне вопрос, насколько это относится и к индивидуальному сознанию. Известно, что в общественном мнении и о коллективных обязанностях идея абсолютного зла и добра занимает лишь незначительное место. Идея жизненной борьбы для бесчисленного количества людей переместилась из сферы личной совести в сферу публичной жизни сообщества, и при этом этическое содержание понятия борьбы по большей части почти бесследно улетучилось. Жизненная борьба, которую они рассматривают как свою судьбу и долг, представляется им почти исключительно борьбой определенного общества за определенное общественное благо, то есть культурной миссией. Следовательно, это борьба против определенных общественных пороков. В осуждении этих пороков может звучать искренняя нравственная убежденность, например, по адресу преступности, проституции, пауперизма. Но чем больше этот порок задевает благо общества как такового -- например экономическая депрессия либо политический кризис, -- тем больше понятие порока сводится к понятию внутренней слабости, которую нужно преодолеть, или внешнего противодействия, которое нужно отразить.

Поскольку, однако, человек, если даже он отринул все этические нормы, сохраняет склонность к нравственному возмущению и осуждению других, к подобному понятию мучительной слабости либо противодействия всегда примешивается осадок ужаса перед "злом", и посему легко вкрадывается заблуждение, в силу которого любое противодействие (weerstand) само по себе переживают как зло.

Противодействие, которое якобы заставляет общество страдать, большей частью исходит от других групп. Жизненная борьба как публичный долг становится борьбой людей против людей. Эти **другие**, против которых идет борьба, теоретически не предстают больше воплощением **зла**. В борьбе за власть и благополучие есть лишь соратники либо экономические или политические поработители. Эти **другие** в зависимости от точки зрения группы-субъекта являются конкурентами, владельцами средств производства, носителями нежелательных биологических качеств либо просто родственными или неродными соседями, ставшими помехой на пути к неограниченной власти. Во всех этих случаях на желание сражаться, покорять, отчуждать либо искоренять моральное осуждение само по себе никак не влияет. Однако человеческая натура слаба, хотя и оспаривают наличие такой слабости у героического язычества. Так что всякая решимость бороться против супостатов сопровождается ненавистью, которая была бы уместна только по адресу зла.

Все психологические реакции, которым подвержена масса, дурманят сообщество, которое жаждет или страшится борьбы. Особенно роковым оказывается страх перед надвигающейся из дали будущего неизвестностью. И чем сильнее техническая вооруженность, чем активнее общий контакт заинтересованных сторон, тем больше угроза того, что любой внешнеполитический конфликт, несмотря на желание не доводить дело до крайностей, из-за взаимного страха может вспыхнуть в безудержной и в конечном счете нецелесообразной форме, коей название -- война.

Слава солдату на поле брани! В нужде и тяготах военного дела он заново открывает все ценности высшей аскезы. Ненависть для него исключается. В постоянной и сдержанной готовности к беззаветному самопожертвованию, в абсолютном подчинении цели, которую ставит перед ним кто-то другой, выполняет он миссию, которая для него самого означает высшее проявление его моральных функций. (Здесь мне кажется необходимым дополнительно мотивировать свое высказывание, которое многими может быть истолковано как прославление войны, что полностью противоречит общей тенденции этого сочинения. Я понимаю, что эта мотивировка не касается, с одной стороны, абсолютных противников всякого насилия, а с другой -- тех, кто отвергает понятия греха и вины. Солдат, подчиняясь военным приказам, исполняет **долг**. Таким образом, на нем нет **вины** за совершаемые дела. Он неизмеримо больше **страдает**, чем действует, и сама его деятельность есть для него страдание. Он страдает за **других** независимо от характера поставленной политической цели. Не достаточно ли ясно сказано, что человек, который по своему долгу, не неся вины, страдает за других, выполняет свои высшие моральные функции?)

Можно ли теперь расширить этот факт безупречности солдата до признания безупречности вражды между государствами вообще, то есть до признания полного права каждого государства во имя своих интересов вести войну? Именно этого хочет политическая теория, которую исповедуют в настоящее время в Германии почти все без исключения -- как люди мысли, так и люди дела. Самым простейшим образом эта теория элиминирует из межгосударственных отношений всякий элемент человеческой злобы.

К этому достаточно пристроить a priori (лат.: независимый от опыта -- прим. ред.) посылку, которая ставит государство как самостоятельный равноценный объект наравне с основами истины и добра, что и осуществляет в

высшей степени красноречиво и хитроумно в своей брошюре "Der Begriff des Politischen" ("Понятие политического") такой авторитет в области государственного права, как Карл Шмитт (8). Свое рассуждение он начинает следующим образом: "Die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Sie gibt menschlichen Handlungen und Motiven ihren politischen Sinn; auf sie fuhren schlieBlich alle politischen Handlungen und Motive zuruck... Insofern sie nicht aus andern Merkmalen ableitbar ist, entspricht sie fur das politische den relativ selbstandigen Merkmalen anderer Gegensatze: Gut und Bose im Moralischen, Schon und HaBlich im Aesthetischen, Nutzlich und Schadlich im Oekonomischen. Jedenfalls ist sie *selbstandig*..." -- ("Собственно политическое различие есть различие между другом и врагом. Оно придает человеческим действиям и мотивам политический смысл; к этому различию в конечном итоге сводятся все политические действия и мотивы... Поскольку его нельзя вывести из других признаков, в сфере политического оно соответствует относительно независимым признакам других противоположностей: Добра и Зла в морали, Прекрасного и Безобразного в эстетике, Пользы и Вреда в экономике. Во всяком случае, оно *независимо*...")

В этом выделении политического как самостоятельной категории, на мой взгляд, мы имеем дело с ярко выраженным и *implicite* (молчаливо, как само собой разумеющееся) признаваемым *petitio principii*\*. А именно такого принципа, который безоговорочно не станет принимать никто из людей, чье мировоззрение еще хоть маломальски соприкасается с Платоном -- несмотря на его панегирики *politeia* (государство), -- с христианством либо с Кантом.

Если бы можно было допустить, что противоположность "друг -- враг" в общем и целом равноценна другим названным противоположностям, тогда бы вытекало само собой, что в политическом аспекте, где противоречие составляет сущность дела, противоположность "друг -- враг" является первоочередной в этом ряду. В конце первого параграфа говорится: "Die Selbstandigkeit des Politischen zeigt sich schon darin, daB es moglich ist, einen derartig spezifischen Gegensatz wie den von Freund und Feind von andern Unterscheidungen zu trennen und als etwas Selbstandiges zu begreifen" -- ("Независимость политического проявляется уже в том, что есть возможность отделить такую специфическую противоположность, как "друг --враг", от других различий и постичь ее как нечто независимое").

Не похоже ли это на преувеличение кредитоспособности логического аргумента как такового, напоминающее нам детские годы схоластики? Не движется ли мысль этого пронизательного юриста с первых же шагов в некоем *circulus vitiosus* (порочном круге) в самом буквальном смысле этих слов?

Для автора брошюры не составляет труда избавить понятие "враг" от морального привкуса, переводя его греческим "полюемист", по-латыни *hostis* (противник, оппонент), а не *inimicus* (враг) (9). Совершенно справедливо он указывает на то, что в Евангелии от Матфея (гл. 5, ст. 44) и в Евангелии от Луки (гл. 6, ст. 27) не сказано "diligite hostes vestros" ("любите врагов ваших"), а сказано "inimicos". Совершенно справедливо также утверждение, что в практике христианства за все время его существования понятие "hostes" ("публичные враги") было знакомо и признано, то есть приведенное выше библейское изречение не касается политической ситуации. Однако дает ли все это основание ставить отношения вражды в политике (ясно, что друг не означает тут ничего положительного) на одну доску с противоположностью "истинное -- ложное", "доброе -- дурное", остается вопросом, на который следует ответить отрицательно независимо от приятия или неприятия христианского принципа.

Совершенно ясно, что было бы логичнее поставить вместо пары "друг -- враг" пару "слабый -- сильный". Во всяком случае, "друг" в этой антиномии равным счетом ничего не значит, "враг" же здесь каждый, с кем идет борьба. Равенство сил в конце концов исчезает в любом военном противостоянии. Сам этот тезис заключает в себе полное и открытое признание права сильного.

Встанем, однако, на позицию автора. Принятая им точка зрения предусматривает, что подчинить решение межгосударственного конфликта приговору третьей стороны -- предприятие неразумное, глупое, бесполезное и должно быть отвергнуто (10). Государству, то есть в принципе любому государству, самому подобает решать, **когда и как** сразиться с врагом (11). А равно решать и то, как явствует из всей логики изложения, кто этот враг. А также и принимать решение (как можно предположить), является ли политически выступающий субъект самим **государством**, то есть вправе ли он вести борьбу с **врагами**.

В этом пункте заключается некий *сгх* (крест), загвоздка, всех последствий которой автор, очевидно, разглядеть не смог; во всяком случае, он оставляет их без внимания. Имеет ли, к примеру, право группа, желающая обрести политическую самостоятельность, вести себя в политическом духе? Как выглядит дело в этом случае с членами союза государств, как -- с партией или с классом, которые претендуют на управление Государством? Вряд ли тут возможен другой вывод, кроме того, что во всех этих случаях жаждущее борьбы сообщество должно само выбрать себе тип государственного правления. Таким образом, сразу же за независимостью политического образования следует признание анархии.

Далее само собой вытекает, что поскольку всякий интерес к расширению своего господства относится к компетенции самого Государства и всегда может быть легко истолкован как условие его существования, то

порабощение малого государства большим становится исключительно вопросом желания и удобного случая. Рядом с поборниками независимости политического принципа встанут принципиальные ревнители войны.

Экспансия сама по себе есть для Государства условие существования, полагает известный социолог Ханс Фрайер. "Der Staat (braucht), damit er unter andern Staaten wirklich sei... eine Sphäre der Eroberung um sich her... Er muß erobern, um zu sein" -- ("Чтобы существовать среди других государств, государство нуждается в сфере захвата вокруг себя... Чтобы существовать, оно должно завоевывать") (12). Более четкого отказа малым государствам в праве на существование просто нельзя сформулировать, Фрайер принадлежит к числу тех, кто прославляет войну как главное дело Государства. Уже многократно звучало назойливым рефреном его изречение: "Alle Politik ist... Fortsetzung des Krieges mit veränderten Mittein" -- ("Всякая политика есть... продолжение войны иными средствами"). Государство должно "während der Waffenstillstände, die wir Frieden nennen" -- ("во время перемирий, которые мы называем миром"), постоянно иметь в виду возвращение к нормальному состоянию -- войне (13).

Полторы тысячи лет назад Августин посвятил несколько глав своего великолепного сочинения "De Civitate Dei" ("О граде Божием") (14) простому доказательству, что всякая борьба, даже борьба диких зверей или мифического разбойника Какуса \*\*, имеет своей целью восстановить состояние равновесия и гармонии, которое мы называем миром. Обратить эту простую истину -- что человек стремится в Космосе к гармонии, а не к дисгармонии -- в свою противоположность, воспевать войну как нормальное состояние было предоставлено мудрецам XX века.

"Menschliche Geschichte im Zeitalter der hohen Kulturen ist die Geschichte politischer Mächte. Die Form dieser Geschichte ist der Krieg. Auch der Friede gehört dazu. Er ist die Fortsetzung des Krieges mit andern Mittein..." -- ("Человеческая история в эпоху высокоразвитых культур есть история политических сил. Формой этой истории является война. Мир входит в нее составной частью. Он есть продолжение войны другими средствами...") (15).

"Der Mensch ist ein Raubtier... Wenn ich den Menschen ein Raubtier nenne, wen habe ich damit beleidigt, den Menschen -- oder das Tier? Denn die großen Raubtiere sind edle Geschöpfe in vollkommener Art und ohne die Verlogenheit menschlicher Moral aus Schwäche" -- ("Человек -- это хищный зверь... Когда я называю человека хищным зверем, кого я при этом оскорбляю, человека -- или зверя? Ибо крупные хищники суть благородные твари самого совершенного вида и без этой лживой человеческой морали, лживой из страха") (16).

Не пахнет ли прошлым столетием это последнее суждение, которое из уст Шпенглера разнеслось гораздо дальше и шире, чем слово Шмитта или Фрайера? Не отдает ли оно слегка поистрепавшимся романтическим разочарованием? И оправданно ли принципиальную склонность к войне сравнивать с природой хищника? Есть ли на свете хищный зверь, что вступает в схватку только ради самой схватки? Или, может быть, скорее и всегда ради *рах* (мира), как это доказывал Августин, ради спокойного существования, которое он полагал принципом космической жизни, обнимающим всю Вселенную, от бездушных вещей и до высоких небес?

Все эти прекрасно звучащие рассуждения, которые могут сойти за проявление реализма, потому что в них проворно разделяются со всеми докучными принципами, обладают большой привлекательностью для подросткового возраста. Характерная черта нашей эпохи: большинство людей никак не может освободиться от власти отроческих представлений. Эмоции и мнения в нашей жизни настолько смешались и перепутались, что, похоже, разобраться в них больше нет надежды. Именно на этой путанице строится философия жизни.

Превознесение **бытия** выше **знания** чревато еще одним следствием, на котором я сейчас хочу сосредоточить внимание. Отказываясь от примата познания, мы тем самым отвергаем нормы суждения, а вместе с ними и долженствования. Ибо всякое нравственное суждение есть в конечном итоге акт познания. Только что упомянутые писатели всецело принимают это следствие. Мы не оцениваем явления культуры, говорят они, мы их только лишь констатируем. Однако там, где на первый план выходят человеческие отношения и поступки, никогда не будет довольно констатации, ибо здесь необходимы и неизбежны оценка, оценочное суждение. К. Шмитт посвящает несколько любопытных страниц цитированного нами сочинения понятию зла. Его интересует признание первородного греха, иными словами, он констатирует, что "alle echten politischen Theorien sind den Menschen als "böse"... vorausgesetzt..." ("все истинные политические теории исходят из предпосылки, что человек зол...")<sup>18</sup>. Что же это значит -- "злой"? А вот что: "böse", das heißt als ein keineswegs unproblematisches, sondern "gefährliches" und "dynamisches" Wesen ("злой" -- это значит ни в коем случае не лишённое противоречий, а "опасное" и "динамичное" существо"). Стало быть, такому существу никак не возбраняется делать уступки "своему" злу. Перед нами дефиниция зла, из которой выхолощен всякий христианский элемент и с ним всякий смысл, так что она впустую вращается на месте в порочном кругу авторского тезиса.

Зачем сторонникам философии жизни осложнять себе дело христианскими терминами? Если бы эти термины имели для них какой-то смысл, то они, эти философы, давно бы поняли, что доктрина независимой от морали политической жизни, сконцентрированной в противоположности "друг -- враг", означает оскудение духа, оставляющее далеко позади себя наивный анимализм, ведет к обездуховлению вплоть до уровня сатанизма, который возвышает зло до роли путеводной нити и сигнального маяка человечества.

#### Примечания автора

- (8). См.: Schmitt C. Der Begriff des Politischen. 3. Aufl[age]. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933. Первое издание появилось уже в 1927 году.
- (9). Ibid., S. 10, 11.
- (10). Ibid., S. 8.
- (11). Ibid., S. 28. Происхождение формулировки Шмитта может быть объяснено из ее применения к задаче науки вообще в соответствии с принципом "философии жизни". Так, некто В. Бене требует: "die Wissenschaft ihre Ergebnisse politisch, d. h. nach dem Freund-Feind-Verhältnis, und wegen der echten Existenz unseres Volkes auswertet" -- ("наука должна оценивать свои результаты политически, то есть с точки зрения отношений "друг -- враг", и под углом истинного бытия нашего народа"). -- "Vergangenheit und Gegenwart", 1934, № 24, SS. 660-670.
- (12). Freyer H. Der Staat. Leipzig, Rechfelden, 1925, S. 146.
- (13). Ibid., S. 142.
- (14). См.: Lib[er] XIX, p. 12, 13.
- (15). Spengler O. Jahre der Entscheidung, S. 24.
- (16). Ibid., S. 14. Ср.: Der Mensch und die Technik, S. 14 usw.
- (17). Имеются в виду Макиавелли и Гоббс.
- (18). Schmitt C. Der Begriff des Politischen, SS. 43, 45, 46.

#### Примечания переводчика

\* *Petitio principii* (лат.) -- мнимое или недостаточное основание для доказательства, аргумент в споре, сам нуждающийся в подтверждении или доказательстве.

\*\* Какус (Как) -- разбойник-великан, убитый Гераклом.

### XIII. Упадок моральных норм

Рассмотрение следствий философской доктрины, отрицающей познавательный идеал как таковой в пользу требований в конечном итоге не постигаемого через знание бытия, привело нас в самое средоточие вопросов о нравственных устоях человеческого общества. Есть ли основание утверждать, что наряду с ослаблением критической потребности и способности критического суждения происходит и упадок морали? А если это так, в чем выражает себя данное явление?

Здесь в самую первую очередь надлежит провести различие между этикой и нравственностью, между теорией и практикой общественной жизни в конкретный исторический период. Во все времена моралисты не уставали жаловаться на резкое падение нравов. Они делали это не на основе сравнительных статистических данных, которыми не располагали. Они замечали, что вокруг больше дурных людей, чем добрых, и отдавали дань идиллическому заблуждению, что раньше все было лучше. Может, и было, а может, и нет.

Наше время имеет в своем распоряжении первые результаты сравнительной статистики, однако они уходят не так далеко в прошлое. Материал их ограничен, тенденция сомнительна, доказательность невелика. Поскольку наблюдения касаются фактов публичного характера, я не вижу оснований винить нашу эпоху в падении нравов по сравнению с любой предшествующей. Это не значит, что возрос моральный уровень индивидуума; ясно пока одно: общественное устройство эффективнее, чем прежде, обуздывает определенные проявления аморального поведения масс. В первую очередь это касается тех проявлений, что непосредственно коренятся в неудовлетворительных социальных условиях и социальной обстановке, как, например, алкоголизм, проституция, детская беспризорность.

Статистике труднее дать ответ на вопрос, стал ли "средний", то есть среднестатистический, человек "порядочнее", чем прежде, или же наоборот. И тут дело зависит не от количества приговоров, вынесенных за воровство, клятвопреступление, мошенничество или растрату, а от тысячи оттенков честности и верности, ускользающих от внимания уголовного судьи, налогового инспектора и даже репортера скандальной хроники.

Эти трудности в еще большей мере касаются всего, что относится к сфере сексуальной этики. Едва ли решает или хотя бы задевает суть проблемы резкая критика возросшего числа разводов, искусственного ограничения

рождаемости, свободного общения полов среди молодежи, с каких бы позиций эта критика ни велась -- с религиозных или социальных. Сексуальная этика гораздо решительнее высвободилась из оков религиозного кодекса морали, нежели социальная обязанность быть правдивым и честным. Однако точно так же, как и сознание обязанности быть правдивым, она требует некоего мерила, заключенного в глубине индивидуальной совести. Если каждый человек в отдельности не признает как истину, что ему нужно противостоять радикальному пороку, именуемому распутством, общество будет безнадежно обречено на сексуальное вырождение с неизбежным самоистреблением в конце.

Всего вместе взятого, однако, недостаточно, чтобы говорить о падении уровня морали в сравнении с прошлыми эпохами западной цивилизации. Что действительно сильно пострадало, так это нормы нравственности вообще, сама теория морали. Есть все основания говорить о кризисных явлениях в этой области, которые, пожалуй, опаснее, чем снижение интеллектуального потенциала. Если, судя по всему, среднестатистический индивидуум ведет себя не хуже и не лучше своих предшественников, то у всех тех, кто не чувствует себя связанным требованиями морального кодекса, данного откровением и предписанного религией, полностью расшатаны самые основы нравственных убеждений. Несть числа тем, кто отступился от некогда абсолютно обязательных норм христианской этики. Может быть, все дело в том, что с утратой теоретических основ теряет силу и понятие обязательности норм? Очевидно, это не так. То ли по инерции, то ли потому, что она глубже укоренилась в душах людей, но христианская мораль в ослабленной (*gedepotentieerd*) форме, в которой обычно ее усваивало общественное сознание, по-прежнему задает тон и масштаб в публичных и частных видах нравственной деятельности. Закон, взаимоотношения членов общества, деловая жизнь -- все исходит из предпосылки, что большинство людей, принятое в качестве нормального, уважает нравственный закон. Каждый чувствует себя обязанным его соблюдать, не задумываясь над тем, основано это чувство личной ответственности на религиозной вере, философии, общественном интересе или на чем-либо другом. Он старается вести себя "прилично" как перед другими, так и перед самим собой. Вопрос "почему" перед ним не встает.

Если только собственная духовная культура не побудит его поставить перед собой этот вопрос. Как только он захочет узнать, на чем зиждется нравственный закон, ему тотчас же станет угрожать серьезная опасность почесть за благо принципиальный отказ от своих нерerefлектированно принятых моральных норм. Систему морали уже с давних пор и с трех разных сторон грозят подорвать философский имморализм, некоторые мировоззренческие системы научного характера и сентиментально-эстетические доктрины.

Философский имморализм по самой своей природе оказывает прямое влияние лишь на ограниченный круг людей. Тем сильнее его косвенное влияние. Ввиду известной податливости человеческого ума для многих вполне достаточно знать, что есть философы, отрицающие всякие основы морали, чтобы заключить, что из такой морали ничего путного не выйдет.

Радикальнее философского имморализма влияет комплекс идей об относительном характере морали, который содержится как в научной системе исторического материализма, так и в системе психологических понятий, заложенной Фрейдом.

В учении марксизма вся сфера нравственных убеждений и обязанностей не может найти себе места иначе, как в духовной надстройке, возвышающейся над экономической структурой данной эпохи, вырастающей из нее и, поскольку она обусловлена этой структурой, обреченной вместе с нею изменяться и погибнуть. Таким образом, нравственный идеал всегда подчинен общественному идеалу и ценность его относительна в самом полном смысле этого слова. Даже высокие принципы, прокламируемые этим учением, а именно принципы товарищества и верности делу пролетариата, в конечном счете мотивируются интересом, классовым интересом. Настольная книжица о морали для юного советского гражданина преподносит ему добродетель верности классовым интересам на тех же страницах, что и правила приличия и гигиена ногтей. Нравственное суждение, как бы его поняли христианин, мусульманин, буддист, платоник, Спинозист или Кантианец, здесь полностью отсутствует. Кроме того, само собой разумеется, что подобное учение оказывает свое практическое воздействие на массу в огрубленном и полупонятом виде.

Столь привлекательный своим мифологическим маскарадом фрейдизм, который легко пробуждает иллюзию научного откровения, без сомнения, "втянул" в свое легкодоступное понятие сублимации в неслыханном объеме нравственное сознание тех поколений, что выросли с начала этого столетия. Хотя фрейдизм и оставляет открытыми двери для известной самостоятельности духа, но в целом он значительно враждебнее христианству, чем этическая теория марксизма. Во всяком случае, выдвигая на передний план инфантильные влечения в качестве базиса всей душевной и духовной жизни, он подчиняет добродетель греху, если выразиться христианскими терминами, выводит из плотского начала самые высокие истины. Ничто, однако, не мешает уже давно умершему для христианской философии поколению играть в свое удовольствие, как на гармонике, растяжимым понятием либидо.

Повторю еще раз: автор не берется здесь давать оценку заслугам психоанализа как рабочей гипотезы или терапевтического принципа. И все же в дополнение к тому, что выше фрейдизм был уже охарактеризован как прямой путь к снижению критического уровня в интеллектуальной сфере, можно с уверенностью заявить, что он существенно способствовал искоренению этики, питаемой совестью и четко сформулированным убеждением.

Если придерживаться строго хронологического порядка, то среди факторов, подорвавших систему христианской морали, **эстетический** фактор нужно рассматривать прежде философского и научного факторов. Его влияние датируется уже XVIII веком. В то же самое время, когда кризис веры затронул почву нравственных убеждений, в ней начался процесс распада под воздействием эстетических и сентименталистских реагентов. В расхожих изображениях добродетели и героизма литература обнаружила лишь скудный ресурс правдивости. Вместе с новым культом добродетели, которая теперь, на естественных и буржуазных основаниях, представлялась достаточно прочной, рождается потребность подвергнуть ее содержание испытанию с помощью более тонких критериев. В сознание людей уже внедрилось понятие о вине общественных условий в человеческих преступлениях и пороках. Это эпоха оправдательных приговоров литературы соблазненным девушкам и детоубийцам. Как только начинает все громче заявлять о себе романтический инстинкт, рядом с романтическим восхвалением добродетели возникает и романтическое презрение к добродетели. Так долго превозносимые добродетель и добропорядочность выходят из моды, их начинают стесняться. Почву для этого готовил уже плутовской роман, несмотря на свою подчеркнутую *non committal* (непричастность к делу). По естественной логике развития литературного жанра интерес все более перемещается с вознагражденной добродетели на безнаказанный порок. Далее, когда в XIX веке усиливаются антиморалистические факторы иного рода, литература мало-помалу вовсе оставляет этические позиции. Упраздненная цензура позволяет ей позволять себе все, что угодно. Дабы возбуждать без передышки внимание публики, всякий литературный жанр постоянно должен стремиться сам себя перещеголять, покуда совсем не выдохнется. Реализм видел свою задачу во все более откровенном живописании деталей вначале человеческого естества, а затем и противоестественности. Нельзя сказать, что тем самым он принял на себя функцию непристойной литературы, которая в более или менее скрытом виде существовала уже давно. При всем том широкая и в известном смысле невинная публика постепенно привыкла переносить самые поразительные крайности вольномыслия и безнравственности, приучаясь видеть во всем этом прерогативу искусства.

Трудно сказать, насколько отход литературы от морали вызывает прямую порчу нравов. Кого не раз удивляло, что читает современная молодежь обоего пола, должен был бы заметить, что намеренная компрометация всякого нравственного принципа и заигрывание с преступностью, порой дурманящие своими парами юных читателей, никак не побуждают их тотчас же следовать этим литературным образцам. Даже умышленная демонстрация имморализма, которая, казалось бы, как нельзя более в духе этого течения, собственно говоря, тоже никого больше не интересует.

Здесь уместно сказать несколько слов о синемафотографе. Ему вменяется в вину много дурного: возбуждение нездоровых инстинктов, поощрение преступности, порча вкуса, беззастенчивая пропаганда погони за наслаждениями. В противовес этому можно доказать, что синемафотограф гораздо больше письменной литературы обращается к старым и популярным нормам нравственного принципа в искусстве. Кино является морально-охранительным фактором. Оно призывает если не к воздаянию за добродетель, то, во всяком случае, к состраданию. Когда оно оправдывает злодея, то немедленно гасит тенденцию превращать это в закономерность, прибегая либо к элементам комического, либо к сентиментальным элементам вроде "жертвы из любви". Фильм требует для своих героев взволнованной симпатии, вознаграждая их счастливым концом -- этим непременно заключительным аккордом всякого настоящего романтизма. Словом, кино исповедует солидную и популярную мораль, не колеблемую философскими либо какими-то иными сомнениями.

Вероятно, кто-нибудь возразит: оно делает это из меркантильного интереса. Но этот меркантильный интерес определяется спросом публики, и гораздо больше, нежели строгостью отборочных комиссий. Можно, стало быть, прийти к заключению, что этический кодекс киноискусства по-прежнему отвечает требованиям массового нравственного сознания. Это обстоятельство имеет важное значение, и в **такой** степени, в **какой** оно доказывает, что все искоренение моральных принципов в самой их основе еще пока не вызвало резких перемен в нравственном самочувствии масс. Скоро мы увидим, в **какой** именно степени.

Новая воля к превознесению бытия и жизни превышает знания и суждения опирается, таким образом, на почву этического расшатывания духа. Эта воля, отвергающая руководство со стороны интеллекта, не сможет найти такого руководства в этике, определяющей себя как "знание". И чрезвычайно важно хорошо распознать, как эта воля мотивируется и на что направлена. Но на чью же тогда долю остается роль всеобщего путеводителя, если роль эту не может больше исполнять ни какая-либо трансцендентальная вера, направленная на внемное и загробное блаженство, ни взыскующая истины мысль, ни всеобщая человеческая мораль, признанная законченной системой, включающей такие ценности, как справедливость и милосердие? Ответ по-прежнему один: только сама жизнь, слепая и непроницаемая жизнь, она есть и объект и путеводитель. Отказ от всех духовных основ, который несет с собой новая философия, имеет значительно более далеко идущие последствия, чем полагают сами носители данной философии.

Общее забвение морального принципа, пожалуй, заметнее и непосредственнее проявляется во вседозволенности, в оправдании [зла] и экзальтации общества, чем в новых нормах деятельности личности.

Всякий раз, когда острые формы насилия, лживости и жестокосердия, которыми мир переполнен как никогда прежде, выражаются в личных поступках, мы еще по большей части имеем дело с приметам одичания, озлобления как следствия чудовищной войны и ее свиты -- ненависти и нужды. Всеобщее притупление нравственного чувства и падение моральных ценностей поэтому пока в более "чистом" виде наблюдаются на примере стран, которым удалось избежать самых злых напастей. Особенно это коснулось оценки политических действий. Эта оценка очень четко отличается от оценки деятельности в сфере экономики. В том, что касается нравственных изъянов экономического плана: нарушений коммерческой надежности, ущемлений права собственности и т.д., -- публичное мнение остается в целом неизменным: искреннее осуждение, смягчаемое легкой улыбкой терпимости. По мере того как все больший размах приобретает преступность, возрастает и терпимость, нередко граничащая с восхищением. Международный аферист встречает больше симпатии, нежели обыкновенный мошенник-бухгалтер. В пересуды о крупных денежных скандалах вкрадывается известный респект перед талантом, с которым финансовые тузы играют на гигантском органе технического прогресса и мировых коммуникаций. Но, суммируя все вместе, можно утверждать, что моральная оценка экономических преступлений осталась величиной постоянной.

Совсем иначе обстоит дело, когда мы даем оценку субъекту, который причастен к публичному правлению и действует его именем, независимо от того, облечен ли он сам верховной властью или она его наделила полномочиями. В отношении действий, совершаемых Государством или его именем, большинство людей все чаще предпочитает воздерживаться от моральных оценок. Разумеется, за исключением тех случаев, когда речь идет о действиях чужого государства или партии, которые в данной стране загодя воспринимаются как враги. Но не только по отношению к своему Государству проявляется склонность одобрять и восхвалять большие государственные деяния. Восторг перед успехами, благодаря которому смягчается недовольство экономическими злоупотреблениями, способен почти целиком нейтрализовать элемент возмущения в политических оценках. Дело заходит порой так далеко, что многие готовы дать высокую оценку политическому действию, даже если в его основе лежит совершенно неприемлемый принцип, и оценка будет тем выше, чем более достигает это действие поставленной цели. Не будучи в состоянии оценить характер средства достижения цели, тем более реальную степень осуществления идеала, рядовой гражданин довольствуется внешними приметами успеха, которые преподносятся газетами читателю или предлагаются вниманию туриста. Так политическую систему, которую он вначале должен был, как ему казалось, презирать, а затем бояться, он станет мало-помалу воспринимать как благотворную и восхищаться ею. Несправедливость, жестокость, моральное принуждение, ложь, вероломство, обман, угнетение, попрание прав? Но ведь на улицах теперь так хорошо и чисто, а поезда ходят точно по расписанию!

Нельзя считать случайностью, что популистское политическое мышление видит готовое оправдание несправедливости и насилия прежде всего во внешних выгодах порядка и дисциплины. Порядок и дисциплина суть в конце концов наиболее зримые признаки энергично функционирующего государственного устройства. Здесь опять вступает в игру эта обманчивая людская склонность из верных посылок делать ложные заключения. Здоровый государственный организм отличают порядок и дисциплина. Логическое обращение: значит, порядок и дисциплина свидетельствуют о здоровье государственного организма. Ах, если бы здоровый сон уже сам делал из человека праведника!

#### **XIV. Государство государству волк**

Но сейчас же в ответ раздается возмущенный протест, и не только со стороны современного деспотизма: Государство не может быть преступным! Государство нельзя рассматривать как подлежащее нравственным нормам человеческого общежития. Любая попытка подчинить его императивам нравственного суждения разбивается о самостоятельность Государства.

Государство стоит **вне** морали. И **выше** морали?

Наверное, сторонник доктрины неморального Государства не решится на подобное утверждение. Он прибегнет к помощи логической конструкции, уже встреченной нами ранее, -- к учению о полной независимости политического, определяемой единственно противоположностью "друг -- враг", то есть отношением, которое



выражает одну лишь опасность, возможный вред и стремление исключить то и другое, ибо, как мы только что показали, "друг" в этой семантической паре означает нечто просто "неопасное". Государство поэтому надлежит оценивать исключительно по его успеху в поддержании своего господства.

Хотя эта конструкция и нова, учение о неморальности Государства имеет долгую предысторию. С большим или меньшим основанием оно может ссылаться на таких мыслителей, как Макиавелли, Гоббс, Фихте и Гегель. Оно находит, по видимости, солидное подтверждение и в самой истории. Во всяком случае, история редко называет в качестве стимула враждебных или дружественных действий и отношений государств иные мотивы, кроме властолюбия, алчности, корыстного интереса или страха. Теория абсолютизма нашла для этого термин "raison d'etat" ("интерес государства").

В прежние времена контраст между политической практикой и христианской моралью еще можно было легко преодолеть в иллюзии, что деяния Государства, какими бы они корыстными и насильственными ни казались, посвящены в конечном итоге благу веры, славе церкви, божественному праву короля или христианской справедливости. Аскетичный дух старого политического сознания наивно и охотно принимал эти представления. Между искренним идеализмом, питаемым патриотической верностью монарху, истовым правовым убеждением и дипломатическим лицемерием витало убеждение в непогрешимости и правоте отечества. Тот же, кто не способен был подняться до требуемого уровня оптимизма, все равно находил способ соблюсти нравственный авторитет Государства. Тысячелетнюю трагедию несправедливости и насилия он рассматривал как греховное деяние Государства, упустившего свой шанс освятиться. При таком образе мыслей оставался неприкосновенным идеал, в силу которого на империях и правительствах лежала священная обязанность жить по заветам веры и справедливости. Государство **не имело права** покидать почву нравственности.

По мере того как мысль о Государстве постепенно, утрачивая способность к чрезмерным иллюзиям, трансформировалась из общих принципов в отражение реальности, на основаниях античного учения о государстве, христианской этики, рыцарских норм и правоведческой теории в лоне международного права сложилась новая система воззрений. Освобожденная от веры как таковой, она трактовала государства мира как сообщество, члены которого обязаны уважать друг друга и вести себя в отношении других таким образом, как того требует право и от людей, живущих сообществом. Гроций придал этой системе классическую форму, ставшую фундаментом здорового государственного устройства, которая в наши дни открыла перо такого мыслителя, как Ван Фолленховен, чей жизненный путь так рано прервался.

Апологеты политической аморальности категорически отвергают как христианское, так и международно-правовое основание для нравственного закона и для учения о долге государства. Эти ревнители встречаются не только среди сторонников фашистских направлений. Подобную точку зрения зачастую отстаивают историки. Да позволено мне будет привести здесь несколько подробнее, чем я уже сделал это ранее (19), отдельные высказывания Герхарда Риттера, которые в устах этого замечательного и спокойно мыслящего историка звучат особенно отчетливо. Германия в эпоху Реформации, говорит этот автор, была "noch weit davon entfernt, einen klaren Begriff von der naturnotwendigen Autonomie staatlichen Lebens gegendber dem Kirchenwesen und der uberlieferten kirchlichen Morallehre zu besitzen" -- ("еще очень далека от ясного представления о естественно необходимой автономии государственной жизни по отношению к церковным институтам и традиционному учению церкви о морали"). Германскому княжескому государству все еще не хватало "das BewuBtsein sittlicher Autonomie seiner weltlichen Lebenszwecke" -- (сознания моральной автономии своих земных жизненных целей"). И в конце статьи: "DaB alles politische Machtstreben sich zu rechtfertigen habe vor dem gottlichen Weltregiment, daB es seine unverrickbare Schranke finde an der Idee der absoluten Gerechtigkeit, des ewigen, von Gott gesetzten Rechts, und daB die Volkergesellschaft Europas fiber alle Gegensatze nationaler Interessen hinweg doch eine Gemeinschaft christlicher Gesittung bilden musse -- das sind alles zuletzt mittelalterlich-christliche Gedanken. Wenn diese uralten Traditionen in der englischen Politik bis heute nicht ganz ausgestorben sind, wenn sie darin fortleben in sakularisierter Gestalt, wahrend die groBen Nationen des Kontinents den rein naturhaften Charakter alles weltlichen Machtstrebens mit seinen harten Interessenkampfen ohne viel moralische Bedenken anzuerkennen pflegen -- so gehort das ebenalls zu den Folgen des Konfessionskampfes, der die Geistesart der europaischen Volker so scharf ausgepragt und so scharf voneinander unterschieden hat" -- ("Что всякое политическое стремление к власти должно оправдывать себя перед божественным мироустроением, что свой предел такое стремление находит в идее абсолютной справедливости, вечного, установленного Богом права, наконец, что вопреки всем противоречиям национальных интересов сообщество народов Европы должно образовать единую общность христианской культуры -- все это в конечном итоге чисто средневековые христианские идеи. Если эти древние традиции до сих пор еще не вымерли до конца в английской политике, если они продолжают существовать там в секуляризованном виде, в то время как великие нации континента обыкновенно признают без особых моральных колебаний чисто естественный характер всякого светского стремления к власти с его жесткой борьбой интересов, то все это можно отнести равным образом к последствиям конфессиональной борьбы, которая столь резко отчеканила духовный облик европейских народов и столь резко дифференцировала их друг от друга") (20).

Эту точку зрения как само собой разумеющуюся принимает и Карл Манхейм, социолог левой ориентации. Ссылаясь на "Die Idee der Staatsraison" ("Идею государственного интереса") Фридриха Мейнеке, он говорит о "moralische Spannung" ("моральном напряжении"), охватившем многих мыслителей, "als sie entdeckt haben, daB fur die Beziehungen der Staaten nach auBen hin die christliche und burgerliche Moral nicht gelte" -- ("когда они обнаружили, что для внешних сношений государств христианская и буржуазная мораль не имеют *никакого веса*")

(21). По мнению Манхейма, процесс этого открытия протекал таким образом, "daB allmahlich diejenigen Schichten, die mit der Herrschaft zu tun hatten, sich selbst davon uber-zeugen muBten, daB sowohl zur Eriangung wie zur Erhaltung der Herrschaft alle sonst als immoralisch geltenden Mittel eriaubt sind" ("что постепенно господствующие слои должны были сами убедиться в том, что как для достижения, так и для удержания господства допустимы все средства, которые обычно считаются неморальными"). Со временем, по мере демократизации общества, с этой "политической моралью" тесно знакомятся все слои, что уже было показано на предыдущих страницах (22). "Wahrend bisher die Moral des Raubes nur in Grenzsituationen und fur herrschende Gruppen bewuBt gultig war, nimmt mit der Demokratisierung der Gesellschaft (ganz im Gegensatz zu den an sie geknupften Erwartungen) dieses Gewaltelement nicht nur nicht ab, sondern es wird geradezu zur offentlichen Weisheit der ganzen Gesellschaft" -- ("В то время как мораль разбоя до сей поры сознательно применялась лишь в пограничных ситуациях и господствующими группами, этот элемент насилия не только не убывает по мере демократизации общества (совершенно вопреки связанным с нею ожиданиям), но и становится прямо-таки публичной философией всего общества"). Манхейм указывает на огромную опасность этого "Hineinwachsen aller Schichten in die Politik" -- ("врастания всех слоев в политику"):

"Wird den breiten Massen ohne weiteres demonstriert, daB Raub die Grundlage der gesamten Staatenbildung und der auBeren Beziehungen zwischen Staaten ist und daB auch durch inneren Raub und Beutezuge ganzen Gruppen Arbeitserfolg und soziale Funktion genommen werden konnen..." -- ("Если станут, не задумываясь, демонстрировать широким массам, что разбой есть основа всякого образования государств и внешних сношений между ними и что и внутренний разбой и грабительские набеги могут лишить целые группы плодов их труда и социальных функций") (23), тогда придет конец всякой трудовой морали и ее охранительному влиянию на человеческое сообщество (24).

Здесь Манхейм снимает покров с одного небезопасного следствия доктрины государственного имморализма, а именно что этот имморализм не может оставаться монополией Государства, ибо его будут присваивать и использовать даже узкие квазиполитические группировки.

Не приходится удивляться, что там, где прямодушная наука впадает в горькое уныние, голос практической политики звучит еще громче и уверенней. На торжественном открытии кафедры германского права государственный комиссар юстиции заявил, если верить изложению его речи в газетах, что "было бы заблуждением думать, будто можно делать политику, опираясь на некую идеалистическую справедливость. Пришло время положить конец смехотворной фантазии, что справедливость может обуславливаться чем-либо иным, кроме жесткой необходимости прямого обеспечения могущества Государства. Земля принадлежит героям, а не декадентам". Прочь, вы все, декаденты, что начиная с Платона заполняли мир своей трусливой болтовней!

--- --- ---

Таким образом, согласно этим воззрениям, Государство **имеет право** делать **все, что угодно**. По собственному усмотрению, если того потребуют интересы его господства, оно может нарушить верность клятве и совершить вероломство. Никакая ложь, никакой обман, никакая жестокость в отношении чужих или собственных граждан не могут быть поставлены ему в упрек, если оно тем самым приносит себе пользу. Оно вправе применить против врага любое оружие, могущее служить его целям, включая и дьявольский кошмар бактериологической войны. А ргoрoс (кстати), в годы моей юности можно было прочесть в учебниках географии, что только некоторые, самые примитивные племена используют в своих войнах отравленные стрелы и что этот обычай исчезает на первых же ступенях цивилизации. Не знаю, право, можно ли еще прочитать об этом в школьных учебниках. Если да, то пришло самое время пересматривать ради приличия либо школьные учебники, либо собственные взгляды.

Итак, в отношении Государства не может быть и речи о политических промахах или преступлениях, которые оно могло бы совершить. Это же теория должна допустить и в отношении противника. Противостоящее государство ведь тоже не подлежит моральной оценке либо осуждению. Но тут немедленно мстит за себя убогость этой философии Государства, полной нечистых испарений человеческого ослепления и корыстолюбия. На практике эта красивая теория Государства, неподвластного морали, имеет хождение только внутри собственных границ. Ибо стоит лишь обостриться вражде, и сразу же великодушный голос твердого как сталь логического аргумента переходит в истерический рев, полный намеренной подозрительности по адресу врага и бранных выпадов из старого арсенала добродетели и греха. Кричат о лживости врага, о его коварстве, о его жестокости, о его дьявольской хитрости... Но ведь враг есть тоже какое-то Государство!

Таким образом, в отношении чужих не может быть никакого политического **долга**. Не существует и политической **чести**, коль скоро честь означает верность поставленному перед самим собой идеалу. Но там, где нет долга и нет чести, не может быть и **доверия**. **Государство государству волк**: это не пессимистический вздох, подобно древнему "homo homini lupus" ("человек человеку волк"), а научный тезис и политический идеал! Однако, к несчастью для теории, всякое сообщество, даже в животном мире, базируется на взаимном доверии особей, которые **могли бы** друг друга истребить. Сообщество как таковое, людей или государств, без взаимного доверия невозможно. Государство, которое само пишет на своих знаменах: "Не доверяйте мне", -- как это нынче делает теория имморального Государства, -- смогло бы в конце концов существовать в мире, если бы оно стало жить согласно этим идеям, только при условии полного превосходства над всеми другими государствами вместе

взятыми. Так следствием абсолютной национальной автономии вновь становится давно забытая химера политического универсализма.

--- --- ---

Это учение о моральной, а точнее сказать, аморальной автономии Государства, вне всякого сомнения, есть величайшая из опасностей, угрожающих западной цивилизации, поскольку оно имеет касательство к самому сильному субъекту власти, который способен и устроить и разрушить весь мир. Как неизбежное следствие оно влечет за собой взаимное истребление или взаимное истощение и дегенерацию тех единиц, из которых складывается эта цивилизация, -- национальных государств. Кроме того, оно угрожает самим этим единицам внутренним распадом в силу названной уже ранее закономерности, когда каждая группа, чувствующая себя в состоянии выиграть что-либо насильем, примет на вооружение такую политику, которая заключает в себе полную свободу от обязательств по отношению к другим. Имморальное всевластие Государства, таким образом, имеет своей перспективой снова анархию и революцию. Претензия Государства побудить своих подданных к добровольной и безусловной верноподданности и послушанию находит себе предел, с одной стороны, в совести, но равным образом, с другой, в эгоизме человеческой природы.

Те, кого называют вождями, должны постоянно принимать самоуправные решения, **что** именно является государственным благом и **как** его добиваться. Верность, в которой им клянутся, не может превосходить доверие, заслуживаемое их мудростью. Если же в самой правящей группе нет единства и разлад заходит так далеко, что каждая из фракций считает именно себя призванной взять в свои руки власть, тогда более сильная или более решительная должна поставить другую на колени либо убрать с дороги. И в этой своей форме теория абсолютного Государства включает в себя практику государственных переворотов и дворцовых революций.

Коль скоро доктрина неморального Государства содержит отказ от принципов истины, верности и справедливости, этих всеобщих человеческих принципов, то ее приверженцы должны были бы, собственно говоря, открыто отречься от христианства. Но этого они не делают, во всяком случае не делают единодушно и полностью. Они повторяют вслед за Тартюфом: "Il est avec le ciel des accommodements"\* , время от времени довольно бесцеремонно желая навязать полюбовные сделки вышеупомянутым небесам.

Здесь мы имеем дело с примечательной формой уже отмеченной амбивалентности современного мышления, или, выражаясь посредством доморощенной терминологии, с широко задуманным планом -- как сберечь и козла и капусту. Сначала декларируют доктрину Государства, которая противоречит христианству, а равно и любой философской этике, опирающейся на непреложный нравственный закон, в основе которого -- совесть. Одновременно же пытаются манипулировать Церковью и догматами веры, предварительно втиснутыми в прокрустово ложе нового Государства.

В действительности этот образ действия отличается от тех, что были характерны для минувших эпох. С XVI и по XIX век национальные государства, как правило, относились друг к другу не нравственнее, чем в настоящее время. При этом они на словах свято и верно блюли христианский кодекс морали, даже апеллировали к нему как к принципу своей деятельности. Несомненно, все это заключало в себе изрядную долю лицемерия, отнюдь не терявшего своей порочности из-за того факта, что это лицемерие не было делом личной совести, а говорило устами самого Государства. Тем не менее все поведение Государства подчинялось одному -- христианскому -- учению, и, когда оно слишком явно отступало от идеала, общественное мнение не отказывало себе в удовольствии прокритиковать действия собственного Государства как несправедливые.

Совершенно иную позицию занимает в наши дни Государство, исповедующее имморализм. В качестве Государства оно заявляет о своей полной самостоятельности и поэтому независимости в отношении любой морали. Поскольку оно, тем не менее, будучи сообществом, попутно хочет сохранить еще церковь и религию с ее четко сформулированным и обязательным нравственным законом, последний не только не равноценен, но подчинен доктрине, которой Государство следует.

Представляется очевидным, что только законченные безбожники и язычники из костюмерной "Кольца Нибелунга" смогут приноровиться к такой ущербной доктрине долга.

Но что же, спросит реалистически настроенный мыслитель, что же тогда вы собираетесь предложить в качестве всеобщей моральной нормы государственной жизни, дающей миру шанс на выживание? Или вы в самом деле полагаете, что, невзирая на все международные осложнения, государства станут вести себя друг с другом как благодетельные Хендрики?\*\*\* Конечно же нет, думать так не позволяют история, социология и знание человеческой природы. Государства будут и в дальнейшем вести себя прежде всего и главным образом соответственно своим интересам или тому, что они таковыми считают, а международную мораль соблюдать, может быть, на один-единственный миллиметр больше того, что предписывают интересы, иначе говоря, страх перед солидарными репрессалиями. Но этот единственный миллиметр -- та пядь земли, которая вмещает честь и доверие, и она больше тысяч миль насилия и воли к власти.

Поборники внеморального Государства забывают, как мне кажется (и в этом я вижу ответ на только что поставленный вопрос), ту самую особенность современного мышления, которая позволяет нам видеть вещи в их антиномичной взаимообусловленности, когда любое окончательное суждение релятивируется одним каким-нибудь "но". Государство есть существо, которое, при несовершенстве всего, что исходит от человека, будет вести себя с внешней, показной необходимостью по тем своим нормам, которые не имеют никакого отношения к нормам построенной на доверии общественной морали, не говоря уже о христианской вере. "Но" тем не менее оно никогда не потеряет из виду до конца ни христианских, ни общественных моральных норм под страхом гибели от последствий своего собственного отступничества.

Прорицательница в "Эдде" пела:

Время ветров, время волков,  
покуда весь мир не исчезнет,  
Ни один человек  
не пощадит другого.\*\*\*  
Но мы не хотим исчезать!

Примечания автора

19. См.: Nederlands Geestesmerk, tweede uitgave, p. 25 [Verzamelde werken, VII, p. 229].

20ю Die Ausprägung deutscher und westeuropaischer Geistesart im konfessionellen Zeitalter. -- "Historische Zeitschrift", 1934, № 149, S. 240 (доклад, читанный на Международном конгрессе историков в Варшаве в августе 1933 года).

Из вышеизложенного возникла очень приятная для меня переписка с профессором Риттером, который пояснил, что ему не хотелось бы видеть словосочетание "sittliche Autonomie" ("нравственная автономия") истолкованным в смысле безоговорочного признания аморальности государства и что он отнюдь не рассматривает неослабное воздействие средневековых представлений о "вечном праве" как признак отсталости, но, напротив, видит в этом скорее преимущество английской концепции государственности над континентальной.

21. Курсив мой. Примечательно, что нравственная норма здесь исключается уже априори.

22. См. сноски 10 - 16 к главе XII "Жизнь и борьба".

23. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, S. 50-52.

24. См. гл. XII и XIII.

Примечания переводчика

"Il est avec le ciel des accomodements" -- Перефразированы следующие строки из IV действия "Тартюфа":

Le ciel defend de vrai certains contentements, Mais on trouve avec lui des accomodements.

В русском переводе Мих. Донского это место выглядит так:

Да, нам запрещены иные из услад,  
Но люди умные, когда они хотят,  
Всегда столкнутся и с промыслом небесным

Цит. по: Мольер. Полное собрание сочинений в 3-х тт. М., 1985 - 1987. Т.2, с. 78 - 79.

\*\* Благоденный Хендрик -- герой одноименной детской книжки (1823) второстепенного нидерландского писателя Николаса Анслейна (1777 -- 1838), весьма популярной в начале прошлого века; пай-мальчик.

\*\*\* В русском издании "Прорицания вельвы" ("Старшая Эдда", с.13) это место звучит иначе:

(...) век бурь и волков щадить человек  
до гибели мира; человека не станет.

## XV. Героизм

Поднятый Нельсоном перед Трафальгарской битвой флажковый сигнал вовсе не гласил: "England expects that every man will be a hero" ("Англия ждет, что каждый станет героем"). Он гласил: "England expects that every man will do his duty" ("Англия ждет, что каждый выполнит свой долг"). В 1805 году этого было вполне достаточно. Так оно и

должно было быть. Этого же было достаточно и для павших под Фермопилами, чья эпитафия, красивейшая из когда-либо сочиненных эпитафий, не содержала ничего, кроме бессмертных слов: "Чужестранец, передай лакедемонянам, что мы лежим здесь, послушные их приказу". \*

Активные политические партии наших дней ссылаются на все могучие идеи и благородные инстинкты, свидетельством которых стали Трафальгар и Фермопилы: дисциплина, служение, верность, послушание, самопожертвование. Но для таких призывов им уже мало слова "долг", и они взвивают флаг героического. "*Принцип фашизма -- героизм, принцип буржуазии -- эгоизм*". Это можно было прочитать в Италии на плакатах, украшавших стены перед выборами весной 1934 года. Просто и выразительно, как алгебраическое уравнение. Решенный вопрос, прописная истина (*leerstuk*).

Для поддержки и утешения в суровой жизненной борьбе и в качестве объяснения великих деяний человечество всегда нуждалось в гипотезе о высоком назначении человека, о превосходящей обычную меру человеческой силе и отваге. Мифологическое мышление переносило осуществление такого величия в сферу сверхчеловеческого. Герои были полубогами: Геракл, Тесей. Но еще в период расцвета Эллады термин "герой" перешел на простых смертных людей: на павших за отечество, на тираноубийц. Однако это были всегда уже мертвые. Культ мертвых был зерном героической идеи. Понятие "герой" стояло рядом с понятием "почивший". Лишь впоследствии, вообще говоря только риторически, оно распространилось и на живущих.

В христианском учении идея героизма должна была потускнеть перед идеей святости. Аристократическая концепция жизни в эпоху феодализма возвысила понятие рыцарства до всех функций героического, связав благородное служение сюзерену и верность христианскому долгу.

С приходом Ренессанса в европейской мысли вызревает новое представление о доблести человека. Акцент падает теперь главным образом на качества ума и поведение в свете. В типах *virtuoso* (доблестный) или *uomo singolare* (выдающийся человек) мужество есть лишь одна из многих добродетелей, самопожертвование не является преобладающей чертой, главным считается успех. Испанец Бальтасар Грасиан присвоил в XVII веке имя "герое" концепции энергичической личности, которая еще отражает Ренессанс, но уже возвещает Стендаля. Иное звучание приобретает в том же столетии *hegos* во Франции. Французская трагедия запечатлевает черты героического в фигуре трагического героя. В то же самое время политика Людовика XIV вводит в моду поклонение героям национально-милитаристского склада, придающее поэтическому мотиву звон меди и треск барабанов, топот героическое в роскоши, помпезных триумфах и высокопарных титулах.

В XVIII веке образ великого человека опять смещается. Герои Расина стали героями Вольтера, обычная жизнь которых протекает за кулисами. Восходящая демократия находит иллюстрацию своего идеала в древних фигурах римской гражданской добродетели. Дух просвещения, науки и гуманизма находит выражение идеала в *гении*, который несет в себе черты героического, но с несколько иным оттенком, нежели ренессансный *virtuoso*. Яркий акт мужества не стоит в понятии гения на переднем плане. Но нарождающийся романтизм открывает в свою очередь новый образ героя, который как духовная ценность скоро превзойдет греческих атлетов: это германский и кельтский герой. Архаическое, смутное и дикое в этих фигурах, мрачный характер их образного воплощения наполняли каким-то неотразимым очарованием европейский дух, повернувшийся ко всему, что напоминало о первопричинах. По-прежнему не может не удивлять, что тон современной героической фантазии задала поэзия Оссиана, на три четверти поддельная и все-таки столь впечатляющая.

Героический идеал, таким образом, постепенно более или менее явно расслоился на театральные, историко-политические, философско-литературные и поэтически-фантастические виды.

На протяжении всего XIX века представление о героическом было лишь в очень ограниченной степени предметом *imitatio*, то есть идеалом, которому нужно следовать. По мере того, как образ героя все больше становился продуктом исторического вторжения в прошлое, призыв "будьте, как этот", громко звучавший в рыцарском идеале, произносился все реже. Германский вариант героя вышел из рук профессоров, которые сделали доступными древнюю поэзию и историю, отнюдь не избирая для себя моделью самосовершенствования Зигфрида или Хагена. Дух XIX века, каким он проявился в утилитаризме, буржуазной и экономической свободе, демократии и либерализме, мало склонен был к установлению сверхчеловеческих норм. Тем не менее идея героизма получила дальнейшее развитие, а именно в англосаксонской форме.

Когда взялся за перо Эмерсон, буря байронизма уже миновала. Его героический идеал лишь в незначительной степени означает негативную реакцию на дух времени. Это культурный, оптимистичный, элегантный идеал, который весьма охотно сопрягается с понятиями прогресса и гуманизма. Больше оппозиции в идеях Карлейля, но и у него сильный упор на этическое и на культурные ценности смягчает в героическом образе черты необузданной жестокости и неистового стремления вперед вопреки всему и вся. Его *hero-worship* (культ героя) вряд ли можно было, по сути дела, назвать страстной проповедью или воздвижением алтаря герою. В англосаксонском искусстве жизни, у Рескина и Россети, было довольно места для героического идеала, парившего в сфере высокой элитарной культуры, на приличной дистанции от требований практической жизни.

Якоб Буркхардт, пронизательнее всех других видевший изъяны своего века и резче их осуждавший, удивительным образом избежал в своей концепции ренессансного человека терминов "героическое" и "героизм". Он по-новому взглянул на величие человека, и эта трактовка прибавила романтическому понятию гения страсти и выразительности. Преклонение Буркхардта перед властной энергией индивидуума и самоуверенным выбором собственного жизненного пути диссонировало со всеми идеалами демократии и либерализма. Но он никому никогда не предлагал своей точки зрения в качестве морали или политической программы. Он стоял на позиции гордого презрения, с которым одинокий индивидуалист взирает на суету окружающей публики. При всем своем почитании человеческой активности Буркхардт мыслил слишком эстетически, чтобы сотворить новый идеал практического героизма. Вместе с тем он был настроен слишком критически, чтобы высказаться в поддержку культово-мифологического элемента, нерасторжимо связанного с понятием героизма. В своих "Weltgeschichtliche Betrachtungen" ("Рассуждениях о всемирной истории"), трактующих о die historische GroBe (историческом величии), он постоянно прибегает к выражению "das groBe Individuum" ("великий индивидуум"), но не к терминологии героического.

И все-таки в одном пункте он оказался предтечей современной версии этого феномена: в соответствии с созданным им самим образом эпохи Возрождения он признает за "великим индивидуумом" фактическое "Dispensation vom Sittengesetz" ("освобождение от нравственного закона"), хотя и не интерпретирует этого явления в философском аспекте.

Ницше, который был учеником Буркхардта, развертывал свои идеи о высших человеческих ценностях из совсем иных духовных перипетий, которых никогда не знал спокойно созерцающий дух его учителя. Ницше провозглашает свой идеал героического, пройдя через полное отрицание ценности жизни. Этот идеал возник в сфере, где дух оставил далеко позади себя все, что называется государственным строем и социальным общежитием, -- идея фантастического ясновидца, предназначенная для поэтов и мудрецов, но не для политических деятелей и министров.

Есть нечто трагическое в том, что нынешнее вырождение героического идеала берет свое начало в поверхностной моде на философию Ницше, захватившей широкие круги около 1890 года. Рожденный отчаянием образ поэта-философа заблудился на улице раньше, чем он достиг палат чистого мышления. Среднестатистический олух конца века говорил об *Ubermensch* (сверхчеловеке), как будто доводился ему младшим братом. Эта несвоевременная вульгаризация идей Ницше, без всякого сомнения, стала зачином того идейного направления, которое поднимает сейчас героизм до уровня лозунга и программы.

При этом понятие героического претерпело такую ошеломительную трансформацию, которая лишает его глубинного смысла. Хотя титула героя риторика порой удостаивала и живущих, но в принципе он оставался почетным уделом только мертвых -- подобно канонизации святых. Такова была цена благодарности, которую живые платили мертвым. На битву отправлялись не для того, чтобы стать героем, а чтобы исполнить свой долг.

--- --- ---

С тех пор как возникли различные формы популистского деспотизма, героическое стало крылатым словом. Героизм стал пунктом программы, он даже хочет играть роль новой морали, коль скоро столько людей признали старую негодной для дальнейшего употребления или вообще ненужной. Было бы глупо без раздумий отрицать ценность этого чувства. Необходимо проверить его на истинность и содержательность.

Восторги по поводу героического -- это самый красноречивый показатель свершившегося большого поворота от познания и постижения к непосредственному переживанию и опыту. Этот поворот можно было бы назвать узлом кризиса. Прославление действия как такового, усыпление критического чутья сильноедействующими возбудителями воли, вуалирование идеи красивой иллюзией -- все это перемешано в новом культе героического, но для искреннего адепта антиноэтической жизненной позиции такие качества суть не более чем дополнительное оправдание героизма.

Разумеется, нельзя отрицать положительную ценность подобной героической позиции, систематически культивируемой властью во имя Государства. Поскольку героизм означает повышенное осознание личностью своего призвания -- не щадя сил, вплоть до самопожертвования, участвовать в осуществлении общего дела, -- то его можно назвать позицией, которая придется кстати в любую эпоху. При этом, несомненно, высоко ценится и поэтическое содержание, присущее понятию героизма. Оно сообщает действующему индивидууму ту напряженность и экзальтацию, с которыми вершатся большие дела.

Не вызывает сомнений, что современная техника резко повысила уровень повседневного проявления мужества, притом что она сделала нашу жизнь и наше передвижение намного безопаснее. Как бы оцепенел Гораций, воспевавший путешествие на корабле как дерзкий вызов небесам \*\*, если бы оказался на борту аэроплана или подводной лодки! С техническими возможностями выросла и готовность людей без колебаний подвергать себя интенсивной опасности. Вне всякого сомнения, существует взаимосвязь между развитием воздухоплавания и распространением героического идеала. Нельзя сомневаться и в том, где именно может он осуществляться в наиболее чистом виде: там, где о нем не говорят, то есть в повседневной работе воздухо- и мореплавателей.

Героизм переходит всякие границы. Время от времени на этом свете должны случаться вещи, которые переходят всякие границы. Здесь мы опять оказываемся у той черты, где наше суждение становится антиномическим. Никто не станет желать, чтобы человечество в любом отношении влачило жалкое существование в узкой колее, куда втиснули его несовершенные законы и несовершенные моральные нормы. Без вмешательства героического не было ни Никейского собора, ни свержения Мервингов, ни завоевания Англии, ни Реформации, ни восстания Нидерландов против Испании, ни свободной Америки. Все дело в том, *кто вмешивается, как и во имя чего*. Если прибегнуть к медицинским терминам, то следует признать, что наше время, возможно, нуждается в препаратах героического при условии, что они будут использованы настоящим врачом и надлежащим образом.

Но эта метафора сразу же побуждает взглянуть на героизм с другой стороны. Эпоха нуждается в тонизирующем средстве потому, что она ослаблена. Культ героического сам по себе есть показатель кризиса. Он означает, что понятия служения, миссии, долга больше не имеют достаточно силы, чтобы стимулировать энергию общества. Ее нужно усиливать, как голос через громкоговоритель. Энтузиазм людей необходимо раздувать, а может быть, и "надувать".

Кем именно, ради чего и как? Цену политическому героизму определяют чистота цели и способ действия. Если такой героизм хочет выдержать сравнение с Фермопилами и Нибелунгами, то его проявление должно быть диаметрально противоположно всему тому, что следует назвать истерической взвинченностью, похвальбой, варварским чванством, дрессировкой, парадностью и тщеславием. Все, что является самообманом, сознательным преувеличением, ложью и обольщением. Не будем забывать, что самая чеканная формула героического, а именно рыцарский идеал Средневековья, сильна как раз ограничением допустимых средств и строгим, формальным кодексом чести.

Эра рекламы не знает ограничений в средствах. Любую информацию реклама насыщает таким зарядом суггестии, какой та только может вместить. Она навязывает свои призывы публике, как догмы, заряжая ее насколько возможно чувствами отвращения или восхищения. У кого в руках лозунг или хотя бы политический термин, будь то расизм, большевизм или что-то другое, у того в руках палка, чтобы бить собаку. Современная политическая публицистика ведет оптовую торговлю палками для битья собак, а своих клиентов в конце концов превращает в горячечных больных, которым повсюду чудятся собаки.

Нынешний героизм с его различием в цвете рубашек и форме приветственных жестов нередко означает на практике не более чем примитивное нагнетание стадного чувства. Определенный субъект "мы и наши", называемый партией, взял героизм в аренду и облакает в него тех, кто ей, партии, служит. С точки зрения социологической такое усиление коллективистского чувства имеет громадное значение. Оно встречается во все времена и у всех народов, а именно в форме обрядов, танцев, кликов, песнопений, атрибутики и т.д. Если наша эпоха и в самом деле утратила потребность логически понимать и мотивировать свои собственные действия, тогда она совершенно естественно должна была вернуться к примитивным методам единения душ и сердец.

Однако со следствиями антиноэтического учения о жизни постоянно связана одна опасность. Приоритет жизни над познанием с необходимостью влечет за собой как следствие, что с принципами познания отбрасываются также и нормы морали. Если власть проповедует насилие, то следующее слово берут сами насильники. Общество само отказало себе в праве от них защищаться. Они будут считать себя оправданными этим принципом и не остановятся перед самыми крайними формами жестокости и бесчеловечия. И все социальные элементы, находящиеся в насилии удовлетворение своих животных или патологических инстинктов, с готовностью стекутся исполнять сообща эту свою героическую миссию. Наверное, только чисто военная власть сможет их удержать в известных границах. В кровавом фанатизме народного движения они станут играть роль подручных смертоубийства.

Примечание переводчика

\* В 480 г. до н. э. отряд из 300 спартанцев под предводительством царя Леонида ценой своей гибели остановил в Фермопильском ущелье персидскую рать. Эпитафия Симонида Кеосского в переводе Цицерона ("Тускуланские беседы", I, 42): *Dic, hospes, Spartaе nos te hic videsse iacentes dum sanctis patriae legibus oobsequimur.* -- (Путник, пойдя, возвести нашим гражданам в Лакедемон, что, их заветы блюдя, здесь мы костями полегли). Русский перевод Л. Блуменау цит. по: *Античная лирика*. БВЛ. М., 1968, с. 178

\*\* В стихотворении "О корабль... (К Республике)". См.: Гораций. Оды, эподы, сатиры, послания, с. 62

## XVI. Пуерилизм

Платон высказал мысль, глубина которой выходит за пределы нашей понятийной системы: люди суть игрушки богов. Сейчас можно сказать, что люди превращают в игрушку весь свет. И хотя эта мысль не так глубока, как первая, ее нельзя считать всего лишь пустым сетованием.

Пуерилизм -- так мы назовем позицию общества, чье поведение не отвечает уровню разумности и зрелости, которых оно достигло в силу своей способности судить о вещах; которое вместо того, чтобы готовить подростка к вступлению во взрослую жизнь, свое собственное поведение приравнивает к отроческому. Термин "пуерилизм" не имеет никакого отношения к понятию инфантилизма из области психоанализа. Он основан на наблюдении и констатации видимых невооруженному глазу культурно-исторических и социологических фактов. Мы не будем связывать с ним никаких психологических гипотез.

Примеры современных обычаев, которые можно не задумываясь квалифицировать как пуерилизм, встречаются на каждом шагу. "Нормандия" отправляется в свой первый рейс и возвращается после триумфального плавания в родную гавань с пресловутой голубой лентой. Благородное состязание наций, чудесное достижение техники! Кораблестроители, судоходные компании, специалисты по транспортным сообщениям все в один голос заявляют, что в пользу эксплуатации гигантских судов нет ни одного практического довода. Зимой "Нормандия" плавать не может: это не оправдывает затрат. Таким образом, приходится возвращаться назад, к практике судоходства в эпоху Раннего Средневековья, когда навигация проводилась только в летнее полугодие. Тошнотворная роскошь, какой бы изысканной она ни была, истинно морской душе кажется насмешкой, и в прежние времена ее сочли бы вызовом небу. А пассажиры терпеливо дрожат от страха все четыре дня пути. Никто из тех, кто мало-мальски разбирается в современной культуре, не захочет и не сможет игнорировать впечатляющую, даже возвышающую силу этого сделанного напоказ чуда техники. В его колоссальных масштабах красота присутствует по праву, как в пирамидах. Красота присутствует и в утонченной внутренней целесообразности. Но сотворивший эту красоту дух не был ни духом величия, ни духом увековечения. Все, чего достиг здесь человек в заранее рассчитанном подчинении природы, принесено в жертву пустой, тщеславной игре, не только не имеющей ничего общего с культурой или мудростью, но и лишенной высоких ценностей самой игры, поскольку она не хочет слыть игрой.

Или возьмем тот вид игры, что претендует на звание серьезного, когда министерские кабинеты то и дело шатаются из-за надуманных партийных интриг и козней, в силу чего некоторые крупные державы тормозят действительное самоочищение и укрепление своего политического режима, запутавшись в правилах парламентаризма, истинной сути которого они никогда не понимали. Или вспомним, как переименовывают большие старые города в честь нынешних общенациональных знаменитостей, умерших и даже живущих, как, например, в честь Горького или Сталина.

Попутно укажем на тот дух парадов и маршировок, что распространился ныне по всему миру. Мобилизуются сотни тысяч человек, самые большие площади оказываются тесными, целая нация выстраивается в одну шеренгу, как оловянные солдатики. Даже стороннему зрителю трудно отделаться от впечатления: какое грандиозное зрелище, какая мощь! Все это ребячество. Пустопорожний блеск формы вызывает иллюзию полноценного содержания. Кто еще не научился думать, тот знает, что на самом деле все это не имеет никакой ценности. Абсолютно никакой. Это лишь воочию убеждает, как много общего имеют популярный героизм цветных рубашек, театральность жестов и всеобщий пуерилизм.

Страна, где национальный пуерилизм можно наблюдать в самых законченных формах, от невинной и даже привлекательной до преступной -- это Соединенные Штаты Америки. Однако нужно при этом остерегаться одного -- не попасть в положение Нёркса \*. Ибо Америка моложе Европы, в ней живее сохранился мальчишеский дух, поэтому многое, что у нас в Европе назвали бы ребячеством, там остается наивностью, а истинная наивность спасает от упрека в пуерилизме. Но сами американцы уже не попадают на удочку своей молодости с ее эксцессами. Они подарили себе "Бэббита"\*\*\*.

Пуерилизм выражается двояким образом: в деятельности, которая слывет серьезной и важной, но вся пронизана игровым качеством, как ранее упомянутая, и в такой деятельности то, что считается игрой, однако теряет игровое качество из-за способа своей реализации. К последней относятся всякого рода любительские занятия и увлечения, а также коллективные или умственные игры, вызывающие широкий, даже международный интерес, с регулярными конгрессами, с рубриками в прессе, с профессионалами и специалистами, со своей теорией и учебниками. Разумеется, их нельзя ставить на одну доску с тем особенно ярким, но поверхностным симптомом всеобщего пуерилизма, так называемым craze (повальным увлечением), мгновенно расходящимся по белу свету, как несколько лет назад это было с кроссвордами.



Само собой понятно, что к числу только что названных любительских увлечений и коллективных игр не относится современный спорт. Телесные упражнения, охота, состязания, правда, являются в высшей степени ювенильными функциями человеческого сообщества, но здесь это целительная и спасительная молодость. Без состязания нет культуры. То, что наша эпоха обрела в спорте и спортивных состязаниях новую международную форму удовлетворения древней и великой агональной потребности, есть, наверное, один из элементов, составляющих наибольший вклад в сохранение культуры. Современными видами спорта мир обязан главным образом Англии. С этим подарком люди научились обходиться лучше, нежели с другими, которые тоже даровала им Англия, а именно с парламентской формой правления и судом присяжных. Новый культ физической силы, ловкости и отваги, который отправляют и женщины и мужчины, сам по себе представляет, вне всякого сомнения, позитивный культурный фактор высшей пробы. Спорт воспитывает жизненную силу и мужество, создает порядок и гармонию -- все, что относится к ценнейшему достоянию культуры.

Это не исключает проникновения пуерилизма самыми различными путями и в спортивную жизнь. Он налицо там, где страсть к соревнованиям принимает формы, полностью вытесняющие духовный элемент, как это происходит в некоторых американских университетах. Пуерилизм угрожает просочиться в спортивную жизнь и через ее чрезмерную организацию и из-за чрезмерного удельного веса спортивной хроники в газетах и журналах, заменяющей их читателям духовную пищу. Пуерилизм демонстрирует себя в особенно наглядном виде там, где честный характер состязаний сталкивается с национальным и прочими чувствами. В целом спорт обладает способностью временно оттеснить на задний план даже сильные национальные антипатии. Известно, правда, что в этом стремлении возвыситься над собственной жадной славой порой случаются перебои, например в тех случаях, когда спортивный арбитр из страха перед публичным скандалом боится судить объективно. С раздуванием национального чувства опасность такого перерождения возрастает. Бояться проигрыша в игре по праву всегда считалось ребячеством. Когда боится проигрыша целая нация, она не заслуживает другого названия, кроме как ребяческая.

Если современной культуре и в самом деле необходимо приписать высокую степень пуерилизма, то встает вопрос, отличается ли она в этом пункте от прошлых культурных периодов и в чью пользу это сравнение. Было бы совсем нетрудно показать, что во многих аспектах поведение сообщества обычно или как исключение бывало неподобающим совершеннолетнему индивидууму. Похоже, однако, что существует различие между прежней глупостью и нынешним ребячеством.

На более ранних культурных стадиях общественная жизнь протекает по преимуществу в игровой форме, то есть во временно установленных рамках человеческого поведения по добровольно принятым нормам и в законченной и замкнутой (*sluitend en gesloten*) форме (25). Место прямого преследования пользы или поиска удовлетворения временно занимает стилизованное представление. Если это священная игра, то такая деятельность превращается в культ или ритуал. Действие остается игрой, даже когда имеют место кровавые ритуалы или состязания. Оно совершается в ограниченном игровом и временном пространстве: освященное место, поле боя, праздничная площадка. Внутри этого пространства "обыденная" жизнь на время исключается. Действительность вне игрового пространства временно забывается, свободное суждение отступает, люди предаются общей иллюзии. Все эти черты по-прежнему реализуются полностью поныне в любой настоящей игре: игре детей, спортивном состязании, театре.

Самым существенным признаком всякой настоящей игры, будь то культ, представление, состязание, празднество, является то, что она к определенному моменту кончается. Зрители идут домой, исполнители снимают маски, представление кончилось. И здесь выявляется зло нашего времени: игра теперь во многих случаях никогда **не кончается**, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь далеко идущие последствия. Обе сферы совместились. В действиях, выдающих себя за серьезное, скрывается игровой элемент. Общепризнанная же игра, напротив, из-за своей чрезмерной технической организации и потому, что ее слишком серьезно воспринимают, больше не в состоянии удержать свой неподдельно игровой характер. Она теряет необходимые качества обособленности, непринужденности и радостного оживления.

Насколько мы можем разглядеть прошлое, подобная контаминация всегда была свойственна культуре. Сущность противоположности "игра -- серьезное" скрывается из виду в непроницаемых глубинах психологии животных. Современная западная культура получила сомнительную привилегию довести до высшей степени это смещение жизненных сфер. Бесчисленное множество как образованных, так и необразованных людей культивирует неизменное ребяческое отношение к жизни. Выше мы уже касались мимоходом распространенного состояния духа, которое можно было бы назвать перманентным отрочеством. Его отличает недостаток чутья к тому, что уместно и что неуместно, недостаток личного достоинства, уважения к другим и к чужому мнению, гипертрофированное сосредоточение на собственной личности. Почву для этого подготавливает всеобщий упадок способности суждения и критической потребности. Масса чувствует себя просто замечательно в состоянии полудобровольного оглушения. Это состояние может в любую минуту стать крайне опасным из-за того, что больше не действуют тормоза моральных убеждений.

Далее, кажется странным и вызывает тревогу, что рост подобного умонастроения подталкивается не только спадом потребности в личном суждении из-за нивелирующей роли групповой организации, которая навязывает

готовые мнения, исключая необходимое сосредоточение собственного мышления, но и благодаря тому, что поразительное развитие техники стимулирует это состояние духа и дает ему богатую пищу. Человек стоит посреди своего полного чудес мира как ребенок, даже как ребенок в сказке. Он может летать на самолете, разговаривать с другим полушарием Земли, получить лакомство из автомата, услышать по радио любую часть света. Он нажимает кнопку, и жизнь врывается к нему в дом. Может ли такая жизнь сделать его духовно зрелым? Совсем напротив. Весь мир стал для него игрушкой. Нет ничего удивительного в том, что он держится, как ребенок.

--- --- ---

Открывая контаминацию игры и серьезного в современной жизни, мы касаемся очень глубоких проблем, которые не могут быть здесь досконально изучены. С одной стороны, это явление предстает как недостаточно серьезное отношение к труду, долгу, судьбе и жизни; с другой -- как признание высокой серьезности занятий, которые чистое суждение назвало бы пустыми, ребяческими, в то время как в обращении с вещами действительно важными преобладают игровые инстинкты и приемы. Ведь не редкость политические выступления ведущих деятелей, которые нельзя оценить иначе как злостные выходки озорных мальчишек.

Было бы небесполезно проследить, как в различных языках слова, обозначающие игру, то и дело перескакивают в сферу серьезного. Особенно богатую почву дает для таких наблюдений язык американцев. Журналист говорит о своем ремесле как о the newspaper game (газетной игре). Политик, воспитанный в честности, но подхваченный волной коррупции, в свое оправдание заметит, что он had to play the game (должен был сыграть эту игру). Таможенника уговаривают посмотреть сквозь пальцы на нарушение Prohibition Law\*\*\*: "Be a good sport" ("будьте же спортивным"). Примеры взяты из частного письма 1933 года. Очевидно, что здесь перед нами нечто большее, чем проблема словоупотребления. Дело тут идет о коренящемся глубоко "переносе" морально-психологического характера. В одном из своих романов Герберт Уэллс описал, как глубоко сидит в ирландцах элемент "fun" ("забавы"), даже в их восстании за независимость.

При полусерьезном жизненном и духовном состоянии очень уместен характерный термин "slogan" ("лозунг, призыв"). Этому старинному шотландско-ирландскому слову, обозначающему боевой клич, по которому собирались кланы, американцы придали в недавнем прошлом (словарь Мэррея \*\*\*\* этого еще не зафиксировал) значение политического девиза или лозунга в предвыборной борьбе. Можно сказать, что "slogan" есть девиз партии, о котором говорящий сам отлично знает, что девиз этот верен лишь в незначительной степени и необходим для успеха его партии. Это игровая фигура, троп.

Англосаксонские народы с их высокоразвитым игровым инстинктом обладают тем преимуществом, что они способны сами воспринимать в своих действиях элементы "fun" ("забава") и "game" ("игра"). Это дано не всякому народу. Латинским, славянским, германским народам континента порой, кажется, не хватает этой способности. Что, например, если вдуматься, означает выражение "Blut und Boden" ("кровь и почва"), как не девиз? Изречение, которое hinwegtauscht (вводит в заблуждение) суггестивной образностью вопреки всем изъянам своего логического обоснования и всем опасностям практического употребления. Ныне этот девиз, не признаваемый таковым, но включаемый в речевой обиход, вплоть до официального и научного лексикона, естественно, стал вдвойне опаснее.

Девиз чувствует себя как дома в рекламе, неважно какой, коммерческой или политической. Под это понятие подпадает вся политическая пропаганда, особенно когда она официально организована. Теперь все рекламное дело, сей гипертрофированный продукт новейшего времени, строится на позиции полусерьезности, характерной для развитых культур. Может быть, ее следует рассматривать как возрастное явление. Пуерилизм -- вот самое точное определение этого феномена.

Эта повсеместно утвердившаяся позиция полусерьезности дает вместе с тем объяснение тесному контакту между героизмом и пуерилизмом. С того самого момента, когда провозглашается лозунг: будем героями, -- начинается большая игра. Когда такая игра протекала полностью внутри сферы поединка эфебов и Олимпиады, она могла быть благородной игрой. Но когда она разыгрывается в политической практике, в парадах и массовой муштре, в ораторских эскападах или в продиктованных властью газетных статьях, а общество принимает все это всерьез -- воистину здесь нет ничего другого, кроме пуерилизма.

Для философии Государства или философии жизни, которая с высказывания суждений разума переориентируется на выражение бытия либо интереса, вся сфера современного пуерилизма с его лозунгами, парадом и бессмысленным состязанием, есть та стихия, в которой великолепно себя чувствует она сама и в которой может пышно расцвести власть, коей она служит. Во всяком случае, ее никак не смущает, что невозможно поверить чистым суждением массовый инстинкт, которым она спекулирует. Эта философия просто не желает чистого суждения, которое есть функция познающего духа. Ее не беспокоит, что с отказом от суждения понятие ответственности редуцируется до расплывчатого чувства вовлеченности в дело, требующее самоотдачи.

Смешение игры и серьезного, составляющее подоплеку всего того, что мы понимаем здесь под термином "пуерилизм", несомненно, является одним из важнейших недугов нынешней эпохи. Остается вопрос, до какой

степени пуерилизм связан с другой чертой современной жизни, а именно с культом молодости. Их нельзя ни в коем случае смешивать. Пуерилизм не признает возраста, он заражает и старых и молодых. На первый взгляд культ молодости есть показатель свежести сил, но может рассматриваться и как старческое явление, как отречение от престола в пользу несовершеннолетнего наследника. Известно, что самые цветущие культуры любили молодежь и ценили ее, однако не баловали, не давали ей изнежиться, постоянно требовали послушания и почтения к старшим. Типично декадентскими и пуерильными были отшумевшие недавно течения, называвшие себя футуризмом. Но нельзя сказать, чтобы виной тому была молодежь (26).

#### Примечания автора

(25). В отдельной работе об игровом элементе культуры я делаю попытку шире осветить затронутую здесь тему, которой посвящен мой доклад "О границах игры и серьезного в культуре", (1933).

(26). В качестве иллюстрации к этой главе о пуерилизме можно рекомендовать два манифеста, недавно выпущенные известным родоначальником футуризма Ф.Т. Маринетти, опубликованные в переводах в лондонской "World", октябрь и ноябрь 1935 года, на с. 310 400 ("World" London, Oct(ober) & Nov(ember) 1935, p. 310, 400), и в Ham-burger Monatshefte fur Auswartige Politik", November 1935, S. 4.

#### Примечания переводчика

\* Нёркс -- персонаж очерка "Неприятный человек из Хаарлеммерхаута", вошедшего в сборник нидерландского писателя нравов Николаса Беетса (1814 -- 1903); нарицательное имя холодного и язвительного наблюдателя, критикующего всех и вся.

\*\* "Бэббит" -- сатирический роман Синклера Льюиса (издан в 1922 году), назван по имени главного персонажа -- преуспевающего бизнесмена, энергичного и шумливого, искренне полагающего, что все можно купить, который стал популярной фигурой.

\*\*\* Prohibition Law -- (англ.): букв. "запретительный закон"; сухой закон, введенный Конгрессом США в 1919 г.

\*\*\*\* Словарь Мэррея -- имеется в виду "New English Dictionary" -- "Новый английский словарь" в 10 томах (1888 -- 1928), издание которого было начато усилиями английского филолога и издателя Джеймса Мэррея (1837 -- 1915).

## XVII. Суеверие

Эпохе, склонной ради воли к жизни отвергать нормы познания и суждения, вполне к лицу оживление суеверия. Будучи всегда увлекательным и дразнящим, суеверие имеет, помимо этого, еще свойство в периоды большого духовного смятения и движения снова входить **в моду**. На какое-то время оно даже приобретает изящество и пикантность, приятно занимая воображение и отвлекая нас от мыслей об ограниченности нашего знания и понимания.

Я не собираюсь трактовать здесь обо всех формах современного суеверия. Остановлюсь только на двух. Первая относится к суеверным представлениям, от которых полностью свободны, пожалуй, лишь немногие, а именно к страху искушать судьбу. Этот врожденный страх таится на самом дне человеческой души; возможно, его следует считать замаскированной верой. Кто из нас не стучит по дереву, чтобы отогнать от себя зло, в которое он всерьез и не верит. Здесь кроется причина того факта, что каждая новая опасность несет с собой новую форму суеверия. Когда автомобиль считался небезопасным, то у заднего стекла обычно болтался какой-нибудь талисман. Теперь их почти не видно. Зато появилось другое: еще совсем недавно одна очень известная авиакомпания требовала от своих пилотов, помимо сдачи экзамена, освидетельствования и тестов, еще и представления гороскопа. Само по себе вполне понятно, что авиация, имея дело с возрастающей опасностью, сама испытывает потребность в психологической гарантии. И все же кажется сомнительным, когда большой официальный организм вносит таким образом свой вклад в возрождение астрологии. Суеверие, претендующее на статус науки, вызывает гораздо больше сумятицы в понятиях, чем суеверие из числа простых и популярных заблуждений. Люди полагают найти в гороскопе точные данные, хотя на самом деле гороскоп, если даже он имеет какой-то смысл, несет в себе не больше информации, чем перечень ваших примет в паспорте.

Самая распространенная и самая роковая форма современного суеверия заключена не в чересчур легковом отношении к таинственным связям и не в ссылке на мнимую научность, а целиком в сфере чисто рационального мышления и доверия подлинной науке и технике. (Должен категорически заявить, что я воздерживаюсь от любого

суждения о серьезном исследовании необъясненных психических явлений.) Это вера в целесообразность современной войны и средств ее ведения.

Конечно, долгое время войнам приписывали самую большую степень целесообразности. В далекой древности восточное царство, истребляя своих врагов, могло не тревожиться о том, что такие войны со временем могут превратить Ближний Восток в пустыню. Да и в европейской истории можно признать несомненную целесообразность за целом рядом оборонительных и несколькими наступательными войнами. Однако несравненно больше было таких, которые едва ли возможно подвести под понятие целесообразности. Вспомним Столетнюю войну, войны Людовика XIV, наполеоновские войны, целесообразность которых была снята Лейпцигом и Ватерлоо. Почти во всех этих случаях целесообразность ограничивается непосредственным результатом. Мир и безопасность как конечные цели войны, собственно говоря, всегда являются следствием не самих военных действий, а истощения сил у воюющих сторон.

По мере того как средства ведения войны становятся все мощнее, а само существование стран, способных вести войну, все более зависит от их мирных взаимоотношений, войны теряют свою целесообразность. Переход от наемной армии к рекрутскому набору и всеобщей воинской повинности означает гигантский шаг в сторону нецелесообразности. Во всяком случае, при этом неизмеримо возрастает расточение народных сил. С огнестрельным оружием все выглядит иначе. Можно сказать, что начиная со своего появления и вплоть до конца XIX века это оружие повышало целесообразность войны, но впоследствии, с прогрессом в применении взрывчатых веществ, она стала круто падать. Во всяком случае, конечный итог всех разрушений достиг таких масштабов, что лишает и победителей и побежденных сколько-нибудь полезных результатов, не говоря уже о том, что на театре военных действий в случае относительного равновесия сил материальные потери и жертвы обеих воюющих сторон перевешивают непосредственный выигрыш. Всякое боевое средство сохраняет свою целесообразность лишь до тех пор, покуда его нет у противника, но не дольше. Что верно для взрывчатых веществ, касается также других чудес, которыми снабдили войну бетонное строительство, подводный флот, авиация и радиотехника. Всякий успех, которого они добиваются, -- мнимый успех, его значение кратковременно, а чаще его и успехом нельзя назвать. Разве не играли гигантские линкоры во время первой мировой войны роль амулетов на шее у Британии! Разве не служили все геройские подвиги, все молодые жизни, но также и вся жестокость и попрание всяческих прав, которыми отличалась война подводных лодок, только тому, чтобы продлилось кровопролитие!

Наша планета больше не в состоянии пережить современную войну. Война может ее только изуродовать, мира она больше не принесет. Ибо дух народов настолько мобилизован и вместе с тем настолько отравлен, что любая война должна будет оставить после себя неимоверно возросшую массу ненависти. Страны-победительницы, по сути, продиктовали конечный итог мировой войны, собрав воедино всю свою государственную мудрость. И что же в результате получилось? Грубые ампутации да новые осложнения, еще неразрешимое прежних, груз нищеты и запустение в будущем! Не составит труда обвинить Версаль в глупости. Как будто в случае победы противной стороны слово взяли бы более мудрые политики и были бы приняты более разумные решения!

Все это значит сеять зубы дракона. Сначала государства, используя высочайшие достижения науки и техники, не останавливаясь перед самыми разорительными затратами, создают сухопутные, военно-морские и воздушные силы, а затем страстно надеются (большинство, во всяком случае) что не будут пускать все это оружие в ход. Выражаясь в терминах чистой целесообразности, это -- подкрашивание старой ржавчины.

Упорная вера в целесообразность войн есть в самом буквальном смысле слова суеверие, реликт минувших периодов культуры. Как могло случиться, что такой человек, как Освальд Шпенглер, в своей книге "Jahre der Entscheidung" ("Годы решения") продолжает фантазировать, развивая это суеверие? Что за беспочвенная романтическая иллюзия -- эти его цезари с героическими фалангами наемных воинов! Как будто современный мир, если вынудит необходимость, стал бы стесняться себя какими-то рамками в использовании всех своих сил и средств!

Я представляю себе сейчас китайскую деревеньку с ее хижинами, а на стенах и крышах развешаны полоски красной бумаги с изречениями, которые должны отводить от жителей всякого рода напасти. Это внушает селянам, надо думать, чувство безопасности. А что такое безопасность, как не чувство? Практично и дешево! И насколько целесообразнее наших миллиардных расходов, не дающих нам никакого чувства безопасности. Почему же мы называем первое суеверием, а второе -- государственной мудростью?

Не нужно понимать все вышеизложенное как защитительную речь в пользу одностороннего разоружения. Кто сидит в одной лодке с другими, должен плыть со всеми вместе. Я только хотел показать, что всякая вера в средства, негодность которых ясна как божий день, не заслуживает другого имени, кроме суеверия. Такой верой может жить только безумный мир. Образ общей лодки здесь очень уместен: лодка, в которой все народы плывут сообща, чтобы вместе спастись или вместе пойти ко дну.

## XVIII. Эстетическое выражение в отрыве от разума и природы.

В самое начало длинной череды симптомов кризиса мы поместили научную мысль, которая, как кажется, далеко оторвалась от разума и способности представления, дабы выразить себя в одних только математических формулах. В конце этого ряда мы рассмотрим искусство. И оно вот уже на протяжении полувека все более и более удаляется от разума. Не аналогичен ли этот процесс тому, что происходит в науке?

Во все времена поэзии свойствен элемент разумной логической связи, даже тогда, когда она поднимается до самых высоких страстей. Хотя ее сущность -- создание прекрасных образов, она выражает эти образы словами, то есть как мысль, ибо внушаемое даже единственным словом представление тоже есть мысль. Инструментом поэта является язык с его логическими средствами. Как бы высоко ни парило воображение, логически выраженная мысль остается канвой стихотворения. Ведийские гимны, Пиндар, Данте, самая глубокая мистическая поэзия, самый взволнованный миннезанг не обходятся без этих схем, поддающихся логическому и грамматическому анализу. Даже китайская поэзия не лишена, насколько я понимаю, этой связи при всей своей туманности.

Бывают эпохи, когда особенно высока степень рационального в содержании поэзии. Таков XVII век во Франции. С этой точки зрения на вершину кривой можно поставить Расина. Если взять за исходную точку французских классицистов и проследить соотношение поэзии и разума, то мы обнаружим, что до самого конца XVIII века, вплоть до зарождения романтизма, это соотношение меняется очень мало. С новым бурным подъемом начинаются резкие колебания. Возрастает элемент иррационального и антирационального. Тем не менее на протяжении почти всего XIX века выразительная форма в поэзии оставалась в основном еще рационально упорядоченной, иначе говоря, даже человек, не чуткий к поэтическому слову, со своим знанием языка и системой понятий мог бы разобраться в формальной конструкции стиха. Только в самом конце столетия поэзия все больше, и притом сознательно, оставляет логическую канву. Крупные поэты освобождают свои произведения от критерия логической интеллигибельности. Здесь не ставится вопрос, означает ли продолжающееся отдаление поэзии от разума ее подъем и облагораживание или нет. Весьма возможно, что тем самым поэзия в более высокой степени, чем прежде, осуществляет свою важнейшую функцию приближения духа к сути вещей. Здесь только констатируется факт, что поэзия уходит от разума. В наши дни Рильке или Поль Валери гораздо менее доступны для людей, нечувствительных к поэзии, чем Гете или Байрон для своих современников.

Параллельно тому, как поэзия покидает почву разума, в изобразительных искусствах совершается отход от зримых форм реальности. С тех пор как Аристотель сформулировал принцип "ars imitatur naturam" ("искусство подражает природе"), он много столетий оставался непреложным законом. Стилизация, орнаментальная или монументальная трактовка фигур не отменяли этого принципа, хотя порой, казалось, и нарушали его. Впрочем, это изречение вовсе не означало копирования того, что естественно наблюдается в природе. Смысл его был много шире: искусство следует природе, делает то же самое, что и природа, то есть создает формы. (Кроме того, понимается, искусство, то есть ars, означает всякое искусственное придание формы, включая сюда и ремесло.) И все же совершенное воспроизведение зримой реальности оставалось всегда благоговейно взыскуемым идеалом, к которому стремился художник. Подчинение природе означало для пластического выражения в известном смысле подчинение разуму, коль скоро разум есть орган, с помощью которого человек интерпретирует свое окружение и делает его проникаемым (doorschijnend). Не случайно поэтому, что тот же самый XVII век, который представляет определенный максимум связи между разумом и поэзией, пошел особенно далеко и в соединении искусства и природы; на этот раз дальше всех -- у голландцев.

Линия пластического реализма в XVIII веке продолжала идти параллельно и наравне с линией поэтической рациональности. Романтизм привнес в эту картину лишь по видимости большие метаморфозы. Ибо перенос предмета из повседневной реальности в мир фантазии вовсе не означает отказа от зримой реальности как источника форм. Делакруа и прерафаэлиты по-прежнему выражают свои художественные идеи в образной системе пластического реализма, то есть изображая вещи, наблюдаемые в зримой реальности. Импрессионизм тоже вовсе еще не отворачивается от форм, которые видит глаз и знает по имени дух. Он лишь означает иной метод достижения эффекта, хотя привязанность к предметному миру реальности в нем ослаблена. Новые требования стилизации и монументализации также никоим образом не совлекают искусство со старого пути.

Только там, где художник пробует создавать формы, которые не могут быть обнаружены сквозь призму практической жизни в зримой реальности, -- там совершается размежевание. Не исключено, что художник по-прежнему отдельные элементы будет заимствовать у природы, однако он станет их так располагать, что целое уже не будет соответствовать пропущенным через логический фильтр впечатлениям действительности. Инициатором этой фазы развития искусства, как мне кажется, следует считать в первую очередь Одилона Редона. Отчетливые предвестия этого направления встречаются уже в творчестве Гойи. Выраженные таким образом элементы формы можно для начала именовать дарами сна или мечты. Гений Гойи был еще способен выражать самое недоступное для глаза в естественных формах. Позднейшие живописцы больше не умеют или не хотят этого делать.

Линия, связующая Гойю и Редона, тянется дальше через творчество таких фигур, как Кандинский и Мондриан. Они вовсе отменяют естественный объект, то есть оформленную природой вещь, в качестве подлежащей претворению в образ. Тем самым их искусство порывает всякую связь с обычными средствами человеческого познания. Понятие "образ" теряет при этом свой смысл.

Из-за недостатка специальных знаний я вынужден оставить в стороне вопрос, не образует ли та линия развития, которая от Вагнера ведет к атональной музыке, третий путь культуры, параллельный и тождественный двум рассмотренным выше.

--- --- ---

Трудно отрицать известное сходство между той ситуацией, в которой находится искусство, и бедственным положением научной мысли, рассмотренным выше. Мы уже видели, что научная мысль пребывает на грани познаваемого. Поэзия и изобразительное искусство -- в той же мере функции духа, в той же мере способные постигать бытие, -- похоже, с явным удовольствием витают на грани познаваемого или за его пределами. Необратимый характер, которым, вне всякого сомнения, отличается научный процесс, свойствен также и эстетическому выражению. Вместе оба эти феномена очерчивают совокупность процесса духовной эволюции в целом.

Если, однако, присмотреться внимательнее, то открывается глубокое различие между обоими явлениями. Для науки и для искусства оказывается полярно противоположным направление самого выхода за указанную грань.

В науке дух, абсолютно несвободный, полностью подчиненный диктату восприятия и интеллекта, обязанный к исключительной точности, уносится в головокружительные высоты и глубины. Его поступательное движение есть законченное **долженствование**. Путь ему предугазан. Идти по этому пути есть добровольно принятое на себя служение благородной даме, именуемой Истиной.

Искусство не терпит, когда стесняют его свободу. Точность не входит в его обязанности. Путь искусства, а лучше сказать, многих его служителей, привел к полному отказу от норм восприятия и мышления. Служители муз отдаются во власть самым непосредственным, "первичным" наблюдениям и впечатлениям, материал которых требует затем эстетического освоения. Эстетическое познание (а оно все равно остается познанием) по мере удаления от логического становится все более расплывчатым. Чтобы выразить свое духовное содержание, поэт извергает в пространство обрывки предложений, в общем контексте теряющие всякий смысл.

Искусство не знает долженствования. Его не сдерживает никакая дисциплина духа. Творческим импульсом ему служит **воля**. И тут обнаруживается важный факт, что искусство гораздо ближе, чем наука, к современной философии жизни, которая бытие предпочитает знанию. В самом деле, оно искренне считает себя способным давать прямое, в обход всякого знания, изображение жизни. (Словно это представление и это истолкование жизни не являются познавательными актами.)

Искусство есть стремление, и наша свэрхрефлективная эпоха требует дать имя этому стремлению. Новейшие течения искусства назвали себя **экспрессионизм** и **сюрреализм** -- умолчим о таких бессмысленных названиях, как **дадаизм**. Оба термина означают, что простое воспроизведение зримой (либо воображаемой) реальности больше не удовлетворяет художника. Экспрессией, то есть выражением, искусство было всегда. К чему тогда экспрессионизм? Если этот термин рассматривать не только как всего лишь возражение импрессионизму, то из него следует, что художник хочет воспроизвести (а воспроизведение существовало всегда) объект своего творчества (ибо такой объект должен быть в наличии) в его самой глубинной сути, освободив от всего, что несущественно или мешает восприятию. Если, к примеру, этот объект называется портничой, или обеденным столом, или ландшафтом, экспрессионист отказывается от его воспроизведения через естественное изображение, которое было бы самым разумным способом донести до зрителя смысл (conceptie) объекта как таковой. Во всяком случае, он берет на себя смелость выразить нечто большее, нечто такое, что скрывается за зримой реальностью, саму суть вещей. Он называет ее идеей или жизнью вещей. Способ презентации объекта не может соответствовать категориям наших практических представлений. Ибо постулат гласит: выразить нечто такое, что неподвластно мышлению.

Здесь творческая позиция художника в некоторых аспектах приближается к современной философии жизни. И та и другая разыскивают "саму жизнь". Следующий пассаж взят из рецензии о творчестве художника Шагала.

"Я знаю: для многих искусство Шагала -- это проблема. Но в его сущности нет ничего проблематичного, это -- искусство, бьющее ключом, непосредственно изливающееся из удивления, из полной отдачи себя мифу жизни, без рассуждений, без вмешательства интеллекта. Оно опирается на подспудное религиозное чувство. Там его источник, в сердце, или, если угодно, в крови, или в мистерии самой жизни. Это искусство проблематично только для тех, кто не может выйти за пределы эстетической проблемы, либо для тех, кто хочет обязательно размышлять над тем, что он видит, меж тем как это искусство исключает размышление. Можно задавать вопросы, почему это сделано так, а то -- иначе. Ответом будет молчание, потому что отвечать тут нечего. В конце концов, существуют как мистерия, так и мистика искусства, существует также искусство с магическими возможностями, которое общается не с рассудком, но со всем тем, о чем наши представления еще слишком скудны. О религиозной преданности бытию дискутировать не приходится. Существуют только две возможности: или вместе с художником отдаваться жизни, или нет".

Если встать на эту точку зрения и пренебречь недостатками аргументации, то можно принять это как абсолютно законченное изложение принципов. Художественный критик рассуждает здесь в полном соответствии с так называемой философией жизни.

Может ли это согласие с принятым нынче многими людьми учением о жизни быть только источником силы для искусства? В этом следует усомниться. Ибо как раз этот примат воли, это громкое притязание на полнейшую свободу, это ослабление всех связей с разумом и природой открывает в искусство двери любым эксцессам и всяческому вырождению. Притом неустанная тяга к оригинальности, одно из больших зол нашего времени, делает искусство гораздо уязвимее науки для всех пагубных общественных влияний извне. Ему недостает не только дисциплины, но и необходимой изоляции.

Рентабельность духа, второе зло современной жизни, играет в производстве искусства значительно большую роль, чем в науке. Необходимость, заставляющая производителей в условиях конкуренции стремиться перещеголять друг друга в использовании технических средств, будь то в погоне за рекламой или из чистого тщеславия, толкает искусство на прискорбные крайности бессмыслицы, которые еще с десятков лет назад выдавались за выражение идеи: стихи, составленные из одних естественных звуков или из математических знаков, и тому подобное. Вряд ли необходимо подчеркивать, как легко впадает искусство в пуерилизм -- опасность, от которой, вообще говоря, никак не застрахована и наука. "Epafer le bourgeois" ("эпатировать буржуа"), к сожалению, не осталось веселым и озорным лозунгом по-настоящему юной богемы, но в качестве девиза давно затмило древний афоризм "ars imitatur naturam" ("искусство подражает природе"). Искусство гораздо сильнее, чем наука, подвержено механистичности и моде. По всему белу свету живописцы вдруг стали писать свои натюрморты под углом в 30 градусов и одевать своих рабочих, которые у них страдают гипертрофией конечностей, в печные трубы вместо брюк.

Более волюнтаристский характер искусства по сравнению с наукой выражается и в той разнице, с которой обе великие культурные функции используют окончание "изм". В научной мысли употребление этого окончания ограничено главным образом сферой философии. Монизм, витализм, идеализм суть термины, означающие общую точку зрения, мировоззрение, с позиций которого подходит к своей работе исследователь. На метод исследования и сами результаты эта позиция оказывает лишь незначительное влияние. Научная деятельность идет своим ходом независимо от того, превалирует ли в ней тот или другой "изм". И только тогда, когда дело касается философской либо мировоззренческой оценки, либо подведения полученного знания под один основной принцип, "измы" начинают играть свою роль.

Несколько иначе обстоит дело с искусством. Точно так же, как и в науке, в искусстве и литературе то и дело появлялись более или менее предуготовленные и осознанные направления, которые потомство впоследствии окрестило именами маньеризма, маринизма, гонгоризма и т. д. В прежние эпохи современнику не доводилось самому давать имя своему поиску в искусстве. Даже периоды расцвета не знают никаких "измов". Это в наше время искусство сплошь и рядом вначале декларирует программу нового направления, именуя его через "изм", а после пытается создать соответствующие произведения. Эти "измы" иного порядка, нежели монизм и т. д. в философии и науке. Ибо культивирование таких "измов" в искусстве оказывает прямое и сильное влияние на способ художественного производства. Иначе говоря, в искусстве до определенного предела действует в противоположность науке диктат воли: мы хотим сделать это так-то и так-то.

И все же если взглянуть на проблему в другом аспекте, то можно опять-таки обнаружить сходство между эстетической и логически-критической продукцией, которое благодаря шумным "измам" могло выпасть из поля зрения. Ибо и под поверхностным слоем направлений и моды в искусстве прокладывает себе путь мощный поток серьезной работы, работы из чистого вдохновения, течет, не отклоняясь причудливо и капризно в мелкие русла и рукава.

## **XIX. Утрата стиля и иррационализация**

Наше поколение, предрасположенное к эстетическому восприятию, легче всего может уловить в развитии искусства и литературы зарождение и развитие явлений, приведших нашу культуру в состояние кризиса. В области эстетического наиболее отчетливо просматривается картина всего процесса. Здесь лучше создается единство процесса: насколько далеко в прошлое уходят истоки нынешнего кризиса, как его созревание охватывает историю двух веков европейской культуры.

С точки зрения эстетической кризисный процесс представляется как утрата стиля. Гордая история великолепного Запада предстает перед нами как чередование стилей; это, согласно школьной терминологии, романский стиль, готика, ренессанс, барокко -- все это в первую очередь названия определенной формы выражения пластической способности искусства. Но слова не вмещают всего значения этих понятий: мы хотим подразумевать под ними также и деятельность мысли, вообще всю структуру данных эпох. Таким образом, каждый век или период имеет для нас свою эстетическую приметку, свое многозначное имя. XVIII век последним представляется нашему взгляду как все еще гомогенное и гармоническое воплощение собственного целостного стиля в любой области; при всем богатстве и разнообразии этих сфер он есть единое выражение жизни.

XIX век этим похвастать не может. И не потому, что он еще совсем рядом с нами. Нам слишком хорошо известно: XIX век не имел больше стиля, самое большее, что у него было, -- это бледное запоздалое цветение. Его приметка -- отсутствие стиля, смешение стилей, подражание старым стилям. Процесс утраты стиля начинается еще в XVIII столетии; его игра с экзотикой и стариной предвещает склонность к имитации, из-за которой ампир уже утратил право называться подлинным стилем.

Эта утрата стиля эпохи -- стержень всей культурной проблемы. Ибо то, что выходит наружу в пластических и мусических искусствах, есть лишь наиболее заметная часть изменений, происходящих в культуре.

Я далек от мысли бесповоротно считать эту утрату стиля порчей и упадком. В границах одного и того же процесса современная культура поднимается до своих высших достижений и питает в себе зародыши возможного упадка.

Около середины XVIII века начинается великий поворот в умах, которые отворачиваются от трезво-рационального и углубляются в сумрачные первоосновы бытия. Взгляд повсюду обращается к непосредственному, личному, первородному, своеобразному, стихийному, направляется на бессознательное, инстинктивное, дикое. В жизни и в ее выражении вновь завоевывают себе место чувство и фантазия, восторг и мечта. Этим углубленным проникновением в бытие, которое при желании можно называть и романтизмом, мы обязаны Гете и Бетховену; оно принесло с собой настоящий расцвет всех наук о культуре: истории, языковедения, этнологии и других.

Однако в самом этом повороте к жизни уже таились зачатки того течения мысли, которое выльется впоследствии в отказ от познания во имя бытия; на крайности этого явления мы уже обращали внимание выше.

Однако тогда до этого было еще далеко. Другая сторона духа: математическая, точная, аналитическая, наблюдающая и экспериментирующая -- никоим образом не захирела, напротив, она приобрела новые возможности через связь со своим антиподом. На протяжении всего XIX века сохраняет свое значение строго критический идеал, в основе которого лежит общий гуманизм, -- и то и другое было декларировано еще XVIII столетием.

Поэтому если в очень широких границах обозреть духовный процесс, то представляется, что начиная с середины XVIII века в духовной жизни Европы эстетическое и чувственное восприятие исподволь все глубже вторгается в сферу мышления, насколько она вообще может это допустить. На логическое суждение наслаивается эстетическая и эмоциональная окраска. В самих творениях красоты и чувства рациональный элемент, связанный со способностью формообразования, все более редуцируется. Этот всеобщий духовный процесс достигает своего предела и конечной точки, когда отказывают в приоритете познанию как средству понимания окружающего мира.



Главная опасность иррационализации культуры прежде всего заключается в том, что эта иррационализация идет рука об руку и сопрягается с высочайшим расцветом технической возможности овладения природой и с небывалым обострением потребности в земном благополучии и земных благах. При этом поначалу не имеет значения, выражается ли эта потребность в формах меркантильно-индивидуалистических, социально-коллективистских либо национально-политических. Ибо во всех случаях **культ жизни** -- результат полной иррационализации -- независимо от того, на какие социальные принципы он ссылается, может лишь усилить бесчеловечные и эгоистические тенденции этой жажды обладать и повелевать. Было бы чистым недомыслием думать, что коллективизм исключает эгоизм.

Единственным противовесом этой деструктивной смывке факторов могут служить только самые высокие этические и метафизические ценности. Возвращение к разуму не поможет нам выплыть из этого водоворота.

--- --- ---

Едва ли можно утверждать, что мы идем по верному пути -- к обретению упомянутых этических и метафизических ценностей. Судя по всему, мы переживаем сейчас самую серьезную полосу -- целый комплекс опасностей угрожает нашей культуре. Культура находится в состоянии ослабленного иммунитета против инфекции и интоксикации -- состояние, сравнимое с опьянением. Дух расточается впустую. С поступательным движением культуры неуклонно девальвируется слово, эта разменная монета мысли, распространяясь все легче и во все возрастающих масштабах. Прямо пропорционально обесценению печатного или устного слова растет безразличие к истине. По мере того, как иррациональная позиция духа завоевывает пространство, границы ложных концепций в любой области раздвигаются до обширной зоны. Немедленная гласность, подстрекаемая меркантильным интересом и погоней за сенсацией, раздувает простое несходство мнений до масштабов общенационального бреда. Идеи дня требуют сиюминутной реализации. Между тем великие идеи утверждали себя в этой жизни всегда очень медленно. Над всем миром висит облако словесного мусора, как пары асфальта и бензина над нашими городами.

Сознание ответственности, на первый взгляд усиливаемое лозунгами героизма, оторвалось от своих корней в личной совести и поставлено на службу коллективизму, любому коллективному образованию, стремящемуся возвести свой ограниченный взгляд на мир в канон спасительного учения и навязать свою волю. В любом коллективном образовании, в любой группе вместе с частью личного мнения в общем лозунге растворяется также часть личной ответственности. Наряду с тем, что в сегодняшнем мире, несомненно, выросло чувство общей ответственности за все происходящее, необычайно возросла и опасность абсолютно безответственных массовых акций.

## **XX. Виде на будущее**

"Диагноз" -- так мы отважились назвать свой обзор кризисных симптомов. "Прогноз" -- это слово звучит, пожалуй, чересчур смело для выводов, которые должны теперь последовать. Взгляда хватает не более чем на три шага вперед. Вся перспектива скрыта туманом. Единственное, что остается, -- это взвесить некоторые шансы, предположить некоторые возможности.

Остается ли еще место для оптимистического заключения после перечисления столь многих и столь серьезных явлений разлада и упадка? Место для этого есть всегда, надежду и веру никто никогда не возбранял. Однако занять это место совсем не легко.

Да, кто исповедует учение о бытии паче знания, тот может утверждать, что его народ не живет с ощущением близкой гибели, а находится на пути к блестящему расцвету своих сил. Для него во всех явлениях, которые нам кажутся сомнительными, торжествует дух, которому он служит. Для нас, однако, остается вопрос: а если бы вновь воцарились в мире благоденствие, порядок, здоровье, даже единство, но сей дух остался бы править, была бы спасена тогда культура?

Мы знаем твердо: сегодняшний мир не может вернуться на прежний путь. Это нам стало очевидно, когда мы размышляли о продукции философии, науки, искусства. Мысль, формообразующая способность должны неотомимо идти по стезе, по которой дух понуждает их идти. Сходным образом обстоит дело с техникой и ее гигантским аппаратом и со всей экономической, социальной и политической машиной. Как трудно себе представить, что кто-то захотел бы или смог бы вывести из строя всеобъемлющий механизм распространения знаний, то есть народное образование, прессу и рекламу, книгопечатание, так же трудно себе представить, что кто-то захотел бы или смог бы воспрепятствовать дальнейшему развитию общественного транспорта, техники и природопользования.

И все же эта перспектива мира культуры, предоставленного произволу собственной динамики, все возрастающего освоения природы, все более широкой и прямой гласности происходящего, скорее кажется неким жупелом, чем обещанным сотворением чистой, возрожденной и возвышенной культуры. Она не вызывает иных представлений, кроме как о непереносимой перегрузке и закабалении духа. Уже длительное время в предвидении этой беспрерывно прогрессирующей цивилизации мы задаем себе боязливый вопрос: а не является ли переживаемый нами культурный процесс варваризацией общества?

Под варваризацией можно понимать культурный процесс, в ходе которого достигнутое духовное содержание самой высокой пробы исподволь заглушается и вытесняется элементами низшего содержания. Можно оставить в стороне вопрос, находятся ли носители высших и низших элементов культуры в том же необходимом отношении друг к другу, как элита и масса. В любом случае, при утверждении этой полярности следует отделить понятия "элита" и "масса" от их социального базиса и рассматривать их только как духовные позиции. Именно это имел в виду Ортега-и-Гассет в своей книге "Rebelion de las masas" ("Восстание масс").

Из истории прошлого нам хорошо известен, собственно говоря, лишь один пример всеобщей фундаментальной варваризации -- закат античной культуры в условиях Римской империи. Но, как мы уже заметили в начале, сравнение тут проводить нелегко из-за большого различия в исторической обстановке. Прежде всего, этот процесс в прошлом охватил период почти в пять столетий. Далее, процесс этот был осложнен явлениями, которые ныне кажутся слишком далекими от нас. Постепенное движение античного мира к варварству было обусловлено тремя факторами: во-первых, омертвлением функций государственного организма, следствием чего было размывание имперских границ и, наконец, порабощение Рима вторгшимися в империю чужими племенами. Во-вторых, спадом интенсивности экономической жизни. В-третьих, распространением более высокой формы религии, для которой прежняя культура в значительной мере была безразлична и которая благодаря жесткости своей организации взяла в свои руки функции регулирования всей духовной жизни. В современном культурном процессе еще нельзя или почти нельзя заметить ни упадка техники, ни возвышения религии.

Бастионы технического совершенства, экономической и политической эффективности ни в коей мере не ограждают нашу культуру от сползания в варварство. Варварство тоже может пользоваться всеми этими средствами. Оснащенное с таким совершенством, варварство станет только сильнее и деспотичнее.

Примером необычайно высокого технического достижения самого полезного и благотворного характера, которое, однако, угрожает содержанию культуры своими побочными эффектами, служит радио. Никто ни минуты не сомневается в исключительной ценности этого нового инструмента духовного общения. Сигналы бедствия и спасательных служб, музыка, новости, которые доносит радио до одинокого человека в самые отдаленные места, -- всех удобств просто не перечислить. И однако же радио как орган коммуникации в своей повседневной функции означает во многих отношениях регресс, возвращение к нецелесообразной форме передачи мыслей. Это заключается не только в известных пороках вульгарного использования радио: невнимательное прослушивание, пустая игра ручками настройки радиоприемника, низводящая радиопередачи до мешанины слов и звуков. Если даже отвлечься от этих необязательных изъянов, радио есть замедленная и ограниченная форма познания. Для темпов нашего времени звучащее слово кажется слишком неповоротливым. Чтение -- более тонкая функция культуры. Ум воспринимает прочитанное гораздо быстрее, он постоянно делает отбор, напрягается, переключается, делает паузы и размышляет, -- тысячи движений мысли в минуту, которых не знает слушающий. Сторонник использования радио и кино в школьном обучении в своем пророчестве под названием "The decline of the written word" ("Упадок печатного слова") радостно и уверенно говорит о ближайшем будущем, которое станет воспитывать ребенка изображением и звучащей речью. Это будет гигантский шаг назад, к варварству. Нет лучшего средства отучить детвору самостоятельно мыслить, сохранить ее пуерильной, несовершеннолетней, а сверх того, вероятно, повергнуть ее скоро и основательно в скуку.

Варварство может идти в ногу с высоким техническим совершенством, оно может идти в ногу со всеобщим и повсеместным школьным обучением. Судить о повышении культуры по снижению безграмотности -- это устаревшая наивность. Определенный минимум школьных знаний еще никоим образом не гарантирует наличия культуры. Если бросить взгляд на общую духовную ситуацию нашего времени, то вряд ли можно будет назвать излишне пессимистичной ее оценку в следующих выражениях.

Повсюду пышно цветут иллюзии и заблуждения. Как никогда прежде, люди кажутся рабами слова, лозунга, чтобы поражать им друг друга наповал: вербицид (dooddoeners) в буквальном смысле слова. Мир насыщен ненавистью и взаимонепониманием. Нет такого прибора, которым можно было бы измерить, каков процент поглупевших и

одураченных и больше ли он прежнего, но сама глупость стала могущественней, чем раньше, она выше восседает на троне и злее вредит. Аморфной полукультурной массе все больше недостает спасительных тормозов уважения к традиции, форме и культуре. Самое досадное -- это заметная повсюду *indifference a la verite* (безразличие к истине), достигающая своей кульминации в открытом публичном восхвалении политического обмана.

Варваризация начинается тогда, когда в старой культуре, за многие столетия поднявшейся до высот ясности и чистоты мышления и познания, это познание начинает заволакиваться магией и фантастикой, поднятыми чадной волной ярких инстинктов и страстей. Вот когда миф теснит логос!

--- --- ---

С каждым днем делается очевидным, в какой значительной мере новое учение о героической воле к власти, в его превознесении бытия над познанием, представляет именно те тенденции, которые в глазах сторонников духа означают путь к варварству. Во всяком случае, именно эта философия жизни и поднимает миф над логосом. Для нее слово "варварство" вовсе не звучит уничижительно. Теряет значение сам термин. Новые властители ничего иного и не желают.

Великие боги эпохи: механизация и организация -- принесли жизнь и смерть. Они сделали весь мир управляемым, повсюду проложили межчеловеческие коммуникации, повсюду создали возможности сотрудничества, концентрации сил, взаимопонимания. Но вместе с дарованными ими инструментами и орудиями они принесли оковы, косность и оцепенение духа. Они переориентировали человека с индивидуализма на коллективизм, и люди всецело приняли это, однако из-за недостатка благоразумия пока преуспели только в одном -- реализовать все то дурное, что содержит в себе всякий коллективизм: отрицание глубоко личного в человеке, рабство духа, -- прежде чем заметили либо поняли то, что в нем есть хорошего. Или будущее и в самом деле принадлежит непрерывно растущей механизации общества по сознательно принятым, меркам чистой пользы и власти?

Все это предвидел Освальд Шпенглер, определив конечную стадию умирающей Kultur как период *Zivilisation*, когда все прежние живые, органические ценности вытесняются точным использованием орудий власти и ледяным исчислением желаемого эффекта. Его принципиальный пессимизм охотно мирится с тем, что подобные обстоятельства приведут сообщество к гибели. Для него гибель есть неминуемый удел всякой культуры.

Если поближе присмотреться к мрачной теории Шпенглера, то можно заметить, что она не свободна от непоследовательности, которая, мне кажется, снижает ее убедительность, в том числе и в глазах самого автора. Прежде всего масштабы шпенглеровской оценки человеческой деятельности явным образом связаны с определенным романтическим чувством. Его понятия "GroBe" ("величие"), "воля сильного", "здоровые инстинкты", "воинственная здоровая радость", "нордический героизм" и "цезаризм фаустовского мира" имеют и сохраняют свои корни в почве наивного романтизма. Далее, как мне представляется, совершенно очевидно, что тот путь, которым шла последние семнадцать лет западная культура со времени выхода в свет шпенглеровского "*Untergang des Abendlandes*" ("Закат Европы"), совсем не похож на тот, который должен был привести ее к периоду *Zivilisation*. Во всяком случае, хотя общество и развивалось в этом направлении, повышая техническую точность и холодное исчисление ожидаемого результата, но в то же время человеческий тип становился все менее дисциплинированным, все более пuerильным, подверженным эмоциональной реакции. И управляют нами отнюдь не те стальные орлы, о которых писал Шпенглер. Можно было бы скорее сказать, что мир являет собой картину шпенглеровской *Zivilisation* плюс изрядная толика безумия, обмана и жестокости, соединенных с сентиментальностью, которой он не смог предугадать. Ибо даже его *Raubtier* (хищник), благородный хищник, под которым подразумевался человек, должен был быть свободен от этого.

Я никогда не мог понять до конца, отчего Шпенглер хотел назвать тип современного человека с сильным духом и высокими достоинствами именем малоудачной фигуры из драматической дилогии Гете. "Фаустовская культура, фаустовская техника, фаустовские нации..." Нельзя же сказать о Фаусте, что он был хищником. Во всяком случае, Гете никак не имел этого в виду. Это возведение фигуры Фауста в символ современного мира может иметь некоторое основание лишь в специфическом романтическом видении...

Если теперь суммировать все сказанное, то мы, наверное, вправе будем именовать шпенглеровскую *Zivilisation*, связанную, как выясняется, с дикостью и бесчеловечностью, скорее варварством, нежели цивилизацией. Но должны ли мы в таком случае разделять и шпенглеровский фатализм? Неужели нет пути к спасению?

Может быть, утешительный ответ даст история. Если окинуть взглядом два или три тысячелетия, непосредственно предшествующих нашей эпохе, и выделить в них те исторические единицы, что мы именуем культурами, то обнаруживается, сколь коротки были периоды их наивысшего расцвета. С регулярностью в несколько столетий повторяется типичный -- возобновляющийся всякий раз на новом месте -- процесс восхождения, расцвета и упадка. Если наши масштабы для оценки этих культур верны, период расцвета каждый раз исчисляется двумя веками. Для древнегреческой цивилизации это V и IV века до рождения Христова, для римской -- I и II века новой эры (здесь существуют различные мнения), для западного Средневековья -- XII и XIII

века, для Ренессанса и барокко вместе взятых (вполне допустимый, даже рекомендуемый подход) -- XVI и XVII. Какими бы приблизительными и даже произвольными эти разграничения ни были, специфические периоды полного развития культуры кажутся в любом случае недолгими. Можно ли считать XVIII и XIX века вместе взятые эпохой современной культуры? В таком случае мы должны оказаться где-то у финиша известной нам культуры. А может быть, и в начале новой, еще незнакомой нам культуры. Возможно, той, чей расцвет еще далеко впереди. К сожалению, о цивилизациях нельзя сказать "Le roi est mort, vive le roi" ("Король умер, да здравствует король").

Ныне уже стало достаточно привычным ощущение, что мы приближаемся к развязке. Мы уже говорили, что не только невозможно себе представить дальнейшее развертывание этой культуры, но и трудно вообразить, что оно способно принести людям счастье или улучшение жизни.

Но все наши исторические экскурсии были тщетными попытками с малопригодными средствами. За исключением немногих фаталистов, современное человечество всему, что предвещает вероятную катастрофу, энергично противопоставляет свою волю: мы **не хотим** погибать. Несмотря на все беды, этот мир слишком прекрасен, чтобы дать ему сгнуться во мраке человеческого вырождения и слепоты духа. Мы больше не ждем скорого конца света. Наследие столетий, именуемое западной культурой, вверено в наши руки, чтобы мы, смертные, спасли и передали его будущим поколениям, передали по возможности приумноженным и усовершенствованным, а если необходимо, и уменьшенным, но любой ценой сохранив его настолько чистым, насколько позволяют наши силы. Надежда на труд, вера в возможность спасения, решимость его добиваться -- этого у нас никому не отнять. Мы не спрашиваем, кому доведется пожинать плоды наших усилий. Египетский фараон Нехо, рассказывает Геродот, пытался прорыть канал через перешеек между Нилом и Красным морем. Ему донесли, что в работах погибли уже 120 тысяч человек, но дело не двигается с места. Царь обратился за советом к оракулу. Оракул ответил: ты работаешь на чужеземца (о Камбис, о Лессепс!) \*, после чего Нехо повелел прекратить работы. Но наша эпоха, несмотря на пророчества сотни оракулов, сказала бы себе: tant pis (тем хуже) -- и продолжала трудиться.

--- --- ---

В чем же заключаются основания для надежды? Откуда ожидать спасения? Что необходимо, чтобы его обеспечить?

Основания для надежды очевидны, они самого общего свойства, если угодно, банальны. Обычные для любого организма нарушения, отклонения от нормы, элементы перерождения всегда привлекают внимание как пациента, страдающего от этих аномалий, так и врача, наблюдающего данный орган. Симптомы заболевания нашей культуры проявляются мучительно и шумно. Несмотря на это, вполне возможно, что в огромном теле человечества поток здоровой жизнедеятельности мощнее, чем нам кажется. Болезнь может отступить.

Насколько видит наш глаз и судит разум, в великих процессах природы и общества предсмертная агония и муки рождения часто сопутствуют друг другу. Ростки нового всегда зарождаются внутри старого. Но современник не знает, да и не может знать, что же является истинно новым, какой новый фактор возобладает.

Всякое сильное действие вызывает противодействие. Если это противодействие, эта реакция наступают не сразу, то следует иметь терпение и не торопить историю. Мы склонны думать, что в нашем сверхорганизованном и благоустроенном обществе с его сложной структурой и большой мобильностью любая акция должна сопровождаться реакцией намного быстрее, чем это было прежде. Но в действительности картина получается обратная. Именно потому, что неизмеримо выросли средства поддержания социального статус-кво, реакция наступает замедленно. Вполне можно допустить, что следующие поколения будут расценивать весь период, в который мы живем, приблизительно полстолетия, как похмелье после мировой войны.

История ничего не может предсказывать, кроме одного: ни один серьезный поворот в человеческих отношениях не происходит в той форме, в которой воображало его себе предшествующее поколение. Мы знаем наверняка, что события будут развиваться иначе, не так, как мы можем их себе представить. В конечном результате исторического периода всегда наличествует компонент, который впоследствии оценивается как **новое**, как нечто неожиданное, прежде еще немыслимое. Это неизвестное может означать зло. Но пока и поскольку ожидание может колебаться между благом и злом, человеческий долг обязывает надеяться.

Не исключается возможность уловить признаки того, что неизвестный нам фактор будет действовать благотворно. Существует ряд тенденций, которые вопреки всем деструктивным силам не перестают развиваться в сторону обновления и укрепления культуры. Кто откажется признать, что идет неустанная работа на благо человечества во всех областях, напрямую не затронутых пороками эпохи, и даже под их ярмом, на тысячу ладов и при помощи все более совершенных средств, с беззаветной отдачей всех сил? Самоотверженно строят и производят, думают и сочиняют, руководят и служат, заботятся и берегут. Или попросту живут, как живут маленькие, незнатные люди, ничего не ведая о борьбе за культуру. Не будоражимая глупостью и насилием, спокойно протекает большая часть жизненного срока молчаливых людей доброй воли, которые своими руками строят каждый свое грядущее. Они живут более или менее замкнуто в некой духовной зоне, куда не имеет

доступа сегодняшняя недоброта, где нет места лжи. Они не поддаются усталости от жизни или отчаянию, как бы ни хмурилось небо в их Эммаусе\*\*.

Во всем мире ширится сообщество людей, готовых принимать все новое, когда оно несет добро, не ради того, чтобы отбросить старое и уже испытанное. Они не связаны лозунгами и символами, их сообщество это сообщество духа.

Очень выразительный знак общей воли к спасению можно видеть в следующем. Нации сейчас больше, чем когда-либо прежде, уединились в наследных уделах своего суверенитета; некоторые открыто заявляют, что ничего не знают и не желают знать, кроме своего суверенитета. Во многих странах интернационализм официально подвергается остракизму. В то же время можно видеть, как именно в силу этой резкой самоизоляции государств игра их взаимоотношений все более обретает форму мировой политики. Мировой политики с самыми негодными средствами, с самыми головоломными трюками --каждое мгновение чревато срывом, -- но это мировая политика, которая осуществляется, *quand meme* (тем не менее), от нее нельзя больше уклониться --как будто необходимость согласия превзошла, переборола все разногласия, обуздала произвол. Как будто милосердный Бог молвил с улыбкой: держитесь спокойно, сейчас я буду вас лепить.

--- --- ---

Если признать такую надежду оправданной, то откуда можно ожидать спасения? От Прогресса как такового ожидать его бесполезно. Мы уже достаточно "прогрессировали" в своей способности разрушать этот мир и наше сообщество. Поступательное движение науки и техники, каким бы необходимым и вдохновляющим оно ни было, не принесет спасения культуре. Науки и техники недостаточно для заложения фундамента культурной жизни. Явления духовной анемии лежат гораздо глубже, настолько глубоко, что научная мысль и производственный потенциал не могут сулить выздоровление, рассчитывая лишь на собственные силы.

--- --- ---

Здесь проблема увлекает нас в область, которую мы до сих пор обходили стороной: область взаимосвязи между духовным кризисом и социально-экономическими отношениями. Если бы мы совсем не касались этого аспекта проблемы, то могло бы возникнуть впечатление, будто подобный вопрос для нас вообще не существует. Необходимо обмолвиться хотя бы словом об этой важной взаимосвязи.

Для многих нынешних мыслителей ключ к решению проблем культуры лежит в решении проблем социально-экономических. В этом убеждены не только чистокровные марксисты. Экономическое мышление оказало такое сильное влияние на нашу эпоху, что, даже не разделяя марксистских постулатов, многие признают как аксиому, что духовные изъяны современного общества коренятся в его социально-экономическом несовершенстве. Эта убежденность нередко опирается на представление, что ежедневно происходящие перед нашими глазами мощные сдвиги и потрясения в социально-экономической сфере являются доказательством того, что мы живем в эпоху фундаментальной структурной трансформации общества, в *Zeitalter des Umbaus* (век перестройки), как без колебаний заявляет Карл Мангейм. И в самом деле, признаки таких перемен весьма впечатляют. В настоящее время, после столетий сравнительно устойчивых отношений, мало-помалу приходит в упадок, кажется, все, что прежде казалось прочным и устойчивым в сфере производства, товарообмена, фонда ценностей, труда и государственной власти. Кажется, что начинают колебаться в своих основах сами принципы частной собственности и свободного предпринимательства. Человечество идет навстречу новому состоянию, с иным, новым устройством общественной жизни -- такой делается вывод.

Эта идея об изменениях структуры по своей сути базируется преимущественно на знании исторических параллелей. Ранее Запад уже испытывал такие перемены дважды: когда на смену античному обществу шло феодальное, а затем на смену феодальному -- капиталистическое. Однако при внимательном рассмотрении оба примера в сравнении с нынешней ситуацией оказываются далеко не такими удачными, как это нам кажется из-за почти неизбежного в подобных случаях редуцирования и упрощения. Процесс феодализации развивался на протяжении восьми или девяти столетий; начавшись уже в эпоху Римской империи, он находит свое завершение не раньше XI века. Переход от феодального общества к буржуазно-капиталистическому растягивается на период времени приблизительно от 1100 до 1900 года, и в целом трансформация оказывается менее интенсивной, чем утверждает общепринятое мнение.

История не дает нам примеров такого же быстрого переворота общественных отношений, какой происходит, по общему мнению, в настоящее время. Два упомянутых выше структурных перелома уступают в радикальности той ломке, что ожидается в наши дни. И тот и другой происходили на неизменной базе действующего принципа частной собственности и семейного наследственного права. Внимательный анализ показывает, что все известные нам высокие культуры прошлого (относительно государственного коммунизма в древнем Перу нет бесспорных данных) строились на этих основах. Так что с исторической точки зрения предположение о быстром и очень далеко идущем структурном изменении современного общества есть рискованная гипотеза.

Можно подумать, что эта структурная ломка -- если допустить, что она назревает, -- идет сама собой и что она породит собственную новую форму культуры. Такое предположение было бы в русле старого исторического материализма. Однако большинство социологов и экономистов считают, что наше время несравнимо с прежними периодами более спонтанного роста культуры в том отношении, что сейчас несравненно возросло понимание проблем, сознательное желание их решить и владение средствами для такого решения. Пациент сам берегся себя лечить. Способно ли сообщество, опираясь на организованно действующие силы, осуществить свою волю к выздоровлению и улучшению, проложить дорогу к этой цели, выбрать и применить необходимые средства? Многие думают, что способно. Люди верят в Planung (планирование) или упорядочение (ordering). Полагают возможным механизировать функции процессов производства, обмена и потребления таким образом, чтобы исключить помеху в виде человеческих инстинктов и побуждений. Воображают картину общества, в котором будут упразднены состязательность, предприимчивость и склонность к риску, в котором индивидуальный эгоизм преобразится в бездушный групповой эгоизм, что повсюду бессильно наталкивается на сопротивление себе подобных. Можно ли такое состояние считать благоприятствующим культуре?

Политическое мышление ожидает от упорядочения общества больше, чем одного только экономического подъема. Оно, кроме того, имеет в виду и возможность заново регулировать на основе тщательно продуманных принципов сами формы сообщества. Всякий раз, когда политическая жизнь стремится к омоложению, старая, неизменная метафора "государство как организм" расцветает снова.

В живом образе государственного организма все те лучшие принципы, о которых шла речь при описании понятия культуры, обретают новую силу: равновесие, гармония, общее стремление, служение, честь и верность. Без сомнения, кроется глубокий смысл для культуры в сегодняшнем стремлении назад, к упорядочению государственного сообщества по сословиям, то есть согласно живым единствам, естественным образованиям. Если бы Государство в самом деле смогло подняться до организма, в котором воплощается эта идея благородного служения, так чтобы человек чувствовал себя в своем "сословии" на своем месте внутри сообщества, чувствовал бы себя "самим собой", то таким упорядочением Государство по меньшей мере упрочило бы базис культуры.

Но для этого необходимо, чтобы эта идея служения значила больше, чем покорность власти, озабоченной лишь тем, как себя укрепить и обезопасить во имя жизненных интересов собственного общества. Ибо такого стремления для подлинной культуры недостаточно. Необходимо обновление духа.

--- --- ---

Если изменение структуры и упорядочение не могут повлечь за собой обновление духа, то не принесет ли его Церковь? Не исключено, что она выйдет очищенной и усилившейся из всех преследований, которым нынче подвергается. Нет ничего немислимоу в том, что в течение следующего исторического периода латинская, германская, англосаксонская и славянская религии пойдут друг другу навстречу и объединяться в скалистых палестинах христианства, что обновленный мир признает также закономерность ислама и глубину восточных верований. Но церкви как институты смогут восторжествовать лишь тогда, когда им удастся очистить сердца своих приверженцев. Именно так, а не духовным диктатом или навязыванием своей воли обратят они зло в добро.

Примечания переводчика

\* Камбис -- древнеперсидский царь, сын Кира 11, который в 525 г. до н. э. Завоевал Египет. Лессепс -- французский инженер и предприниматель Фердинанд Лессепс руководил работами по прорытию Суэцкого канала (1859 - 1869).

\*\* Эммаус (или Еммаус) -- селение вблизи Иерусалима, на пути в которое повстречали воскресшего Христа двое его учеников (Евангелие от Луки, гл.24)

Не от вмешательства регламентирующей власти следует ожидать спасения. Основы культуры имеют особенную природу, их не могут закладывать или поддерживать коллективные субъекты как таковые, будь то народы, государства, церкви, школы, партии либо ассоциации. Для этого необходимо внутреннее очищение, очищение самого индивидуума. Должен измениться сам духовный *habitus* (состояние) человека.

Сегодняшний мир далеко продвинулся по пути всеобщего отрицания абсолютных этических норм. Он уже не знает прежнего убежденного различия добра и зла. Переживаемый культурой кризис он склонен рассматривать исключительно как борьбу противоположных тенденций, как борьбу враждующих сторон за власть. И все-таки возможность надеяться на перемены состоит единственно в признании факта, что в этой борьбе все действия квалифицируются в соответствии с принципом абсолютного добра и абсолютного зла. Из признания этого факта следует, что благо не может заключаться в победе одного государства, одного народа, одной расы, одного класса. Когда нормы притяжения или непритяжения подчиняют цели, основанной на эгоизме, то человеческое чувство ответственности низводится до самой крайней точки.

Дилемма, перед которой ставит нас время, день ото дня растет и обостряется. Достаточно взглянуть на царящие в мире политический разброд и смятение. Повсюду запутанные узлы проблем, настойчиво требующих своего разрешения в самом ближайшем будущем, по поводу которых любой непредубежденный наблюдатель должен признать, что едва ли можно придумать такое решение, которое не задело бы ничьих законных интересов, не помешало бы исполнению ничьих справедливых желаний. Это проблемы национальных меньшинств, немыслимо проведенных границ, запрета на естественное воссоединение, невыносимые экономические условия. Любая из этих ситуаций переживается на грани ожесточения, которое превращает их во множество очагов, готовых в любую минуту воспламениться. В каждой из них законное право противостоит законному же праву. Представляется, что из такой ситуации может быть только два выхода. Один -- это вооруженное насилие. Другой -- это урегулирование на основе широкого международного доброжелательства, отказа от взаимных обоснованных претензий, уважения к правам и интересам другой стороны, одним словом, бескорыстия и справедливости.

От всех этих добродетелей современный мир кажется более удаленным, чем он желал этого на протяжении ряда столетий, во всяком случае, претендовал на это. Даже принципиальное требование международной справедливости и международного блага теперь многими отвергается. Доктрина абсолютной власти Государства заранее оправдывает любого державного узурпатора. Беззащитному миру угрожает безумие опустошительной войны, несущей с собой новое, еще большее одичание.

Общественные силы прилагают старания, чтобы предотвратить это безмерное зло, добиваются согласия и взаимопонимания. Малейший успех Лиги Наций, хотя Арес и встречает его язвительной улыбкой, теперь дороже, чем серия славных побед на суше и на море. Однако если состояние духа не изменится, то сил разумного интернационализма будет недостаточно. Как одно восстановление благополучия и порядка само по себе еще не сулит очищения культуры, так же мало следует его ожидать от предотвращения войны усилиями международной политики. Новую культуру может создать только очистившееся человечество.

--- --- ---

Катарсис, очищение -- так называли греки то состояние духа, которое вызывается созерцанием трагедии, то безмолвие сердца, в котором смешались сочувствие и страх, очищение души, что возникло из постижения более глубоких истоков вещей. Которое подготавливает всерьез и снова к деяниям долга и покорности року. Которое ломает хюбрис (*hybris*)\*, так же как это представляют актеры на сцене в самой трагедии. Которое избавляет от грубых инстинктов и умиротворяет душу.

Для столь необходимого нашему времени духовного *clearing* (очищения) понадобится новая аскеза. Носители очищенной культуры должны будут чувствовать себя так, словно они только что пробудились ранним утром ото сна. Они должны будут стряхнуть с себя дурные сны. Сон своей души, что выросла из грязи и может снова в нее погрузиться. Сон своего мозга, извилины которого были всего лишь железной проволокой, и своего сердца из стекла. Сон своих когтей, в которые превратились кисти рук, и своих торчащих изо рта клыков. Они должны будут вспомнить, что человек **может захотеть** не быть хищным зверем.

Новая аскеза не будет аскетическим отрицанием мира ради блаженства на небесах, эта аскеза будет проявляться в самообладании и в правильном определении меры могущества и наслаждения. Она несколько приглушит безудержное восхваление жизни. Нужно будет вспомнить, что уже Платон определял занятия мудреца как приготовление к смерти. Твердая ориентация жизненной доктрины и жизненного чувства на смерть побуждает к правильному употреблению жизненных сил.

Новая аскеза должна быть самопожертвованием. Самопожертвованием во имя того, что может мыслиться как высшая ценность. Этой высшей ценностью равно не могут быть ни государство, ни народ, ни класс, но и не собственное существование. Блаженны будут люди, для которых этот принцип может носить только имя того, кто сказал: "Я путь, я истина, и я жизнь"\*\*\*.

--- --- ---

Приметы духовной позиции, необходимой для возрождения культуры, намечаются в нынешнем политическом активизме, но в неочищенном виде; их опутывает безмерный пуерилизм, заглушают вопли запертого в клетку зверя, они запятнаны ложью и обманом. Как бы то ни было, эту культуру на следующем этапе придется нести молодежи, которую нельзя упрекнуть в недостатке готовности отдавать себя, отдаваться служению и лишениям, совершать поступки и жертвовать собой. Но общее ослабление суждения и упадок моральных норм стоят у нее на пути и мешают оценить глубочайшую значимость того дела, для которого ее призывает общество.

--- --- ---

Пока что еще трудно предвидеть, где и когда начнется это столь необходимое духовное очищение людей. Нужно ли нам опуститься еще ниже, чтобы совсем потерять силу? Или, может быть, несмотря на шумную сумятицу будней, в мире уже идет сплочение людей доброй воли? Повторим еще раз: воспитание чувства международной солидарности еще не все, чего от нас требует время. Но чрезвычайно важно, что эта терпеливая работа приуготовления умов и сердец для лучших времен не прекращалась, и она продолжается в разных концах света благодаря активности как узких групп единомышленников, так и официальных международных организаций, действующих с позиций Церкви, Государства либо общекультурных. Где бы ни взошел пусть даже хрупкий росток **подлинного интернационализма**, укрепите его, поливайте его. Поливайте живой водой собственного **национального** сознания -- при условии, что оно чистое. Тем сильнее пойдет он в рост. Интернациональное чувство -- здесь уже само слово подразумевает сохранение национальностей, но при котором они ладят друг с другом и не превращают разногласия в разногласие -- может стать сосудом для новой этики, которая снимет противоположность "коллективизм -- индивидуализм". Разве пустая мечта, что этот мир когда-нибудь еще станет таким хорошим? Но даже и в этом случае нам было бы надобно сохранять верность идеалу.

--- --- ---

Но не вступаем ли мы в противоречие, выражая все эти пожелания и надежды на очищение душ, на катарсис, который должен стать обращением, возвращением к себе, новым рождением человека, -- не вступаем ли мы в противоречие с тем, что казалось необходимым констатировать в начале нашего изложения? Тогда мы говорили, что минувшие эпохи, страждущие по лучшему общежитию людей, возлагали надежды на поворот судьбы (откеер), на просветление в умах как сознательное и скорое обращение к добру. Наше время, напротив, знает, что великие духовные и общественные перемены совершаются только при постепенном развитии, в крайнем случае ускоряются потрясениями. И тем не менее мы требуем и надеемся и теперь на поворот общества к добру, в известном смысле даже на возвращение назад?

Здесь мы снова оказываемся перед антиномической обусловленностью всех наших суждений. Мы вынуждены признать в первоначальном воззрении долю истины. Движение культуры должно содержать возможность и обращения и возвращения, а именно в том случае, когда это касается признания или нового обретения вечных ценностей, неподвластных процессу развития или изменения. Ныне на очередь дня встают именно такие ценности.

--- --- ---

Исторические периоды тяжелого духовного давления, подобные нашему, пожилые люди переносят легче молодых. Пожилые знает, что ему придется лишь недолгую часть пути вместе со всеми нести бремя эпохи. Он рассудительно сравнивает, как все обстояло или выглядело, когда он еще только начинал нести свой груз, и как грозит все обернуться сейчас. Его "вчера" и его "завтра" быстро перетекают друг в друга. Перед лицом смерти его страхи и заботы весят все меньше. Свою надежду и доверие, свою волю и мужество действия он вкладывает в руки тех, у кого жизнь еще впереди. На них возлагается серьезная обязанность выносить суждения, выбирать, трудиться, действовать. К ним переходит тяжелая ответственность, им оставлена прерогатива знать грядущее.

Автор этих страниц относится к тому множеству, чьей привилегией является постоянное общение с молодежью как в служебных делах, так и в личной жизни. Он убежден, что в способности переносить тяготы жизни нынешнее молодое поколение не уступает предыдущим. Распад всех связей, путаница идей, рассеяние внимания и расточение энергии, -- условия, в которых росло это поколение -- не сделали его ни слабым, ни апатичным, ни равнодушным. Молодежь эта выглядит открытой, бодрой, непосредственной, способной и к наслаждениям и к лишениям, решительной, отважной и благородной. Она легче на подъем, чем прошлые поколения.

Перед этой молодой сменой стоит задача вновь овладеть и управлять этим миром, как им следовало бы управлять, не дать ему погибнуть в безрассудстве и самоослеплении, снова пронизать его духовностью.

Примечания переводчика

\* *Hybris* (греч.) -- одна из узловых тем древнегреческой трагедии, дерзость человеческая, бросающая вызов



небесам, за которую боги карают героя.  
\*\* Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 6.

+++